Д. П. Бутурлин
История
Смутного
времени в России
в начале XVII века

Дмитрий Петрович Бутурлин

История Смутного времени в России в начале XVII века

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17181900
История Смутного времени в России в начале XVII века / Д. П. Бутурлин: Кучково поле; Москва; 2012
ISBN 978-5-9950-0314-4

Аннотация

Книга в трёх частях, написанная Д. П. Бутурлиным, военно-историческим писателем, участником Отечественной войны 1812 года, с 1842 года директором Императорской публичной библиотеки, с 1848 года председатель Особого комитета для надзора за печатью, не потеряла своего значения до наших дней. Обладая умением разбираться в историческом материале, автор на основании редких и ценных архивных источников, написал труд, посвященный одному из самых драматических этапов истории России – Смутному времени в России с 1584 по 1610 год. В приложениях к каждой части содержатся документы эпохи: план осады Троице-Сергиева монастыря в 1608–1610 гг., дневник осады Смоленска польским королём Сигизмундом III в 1609, 1610 и 1611 годах, а также грамоты, наказы, записи, письма, договоры, написанные от имени царевича Дмитрия Ивановича, царя Василия Ивановича, царицы Марфы Федоровны, патриарха Иовы, гетмана Петра Сапеги, шведского генерала Якова и других исторических лиц. Издание предназначено для специалистов-историков и читателей, интересующихся отечественной историей.

Содержание

Часть I 4
Глава 1 4
Глава 2 45
Часть II 82
Глава 3 82
Конец ознакомительного фрагмента. 116

Дмитрий Петрович Бутурлин
История Смутного времени в России в начале XVII века

Посвящается от сочинителя графу Иллариону Васильевичу Васильчикову, в знак душевного почтения

Часть I

Глава 1
(1584–1605)

Начало XVII века в России ознаменовано событиями чрезвычайными, кои тем более изумляют нас, что история предшествующего полувека нисколько не приготовляет к оным. Русский народ, двадцать четыре года сряду безропотно покоряющийся всем неистовствам царя Иоанна Васильевича Грозного, вдруг сам разрывает все узы законной подчиненности и с неимоверным остервенением вдается в ужасы самовольства и безначалия. Дух буйства и раздора, предавая все сословия исступлению гнуснейших страстей, потрясает самые начала государственного образования и очевидно влечет Россию к конечному разрушению ее самобытности. Но самая безмерность зла ужасает строптивейших. На краю бездны русские внемлют гласу погибающего отечества. Сильный единодушный порыв уничтожает вероломные замыслы внешних врагов и внутренних крамольников, и спасенная Россия успокаивается на обновленных основах своих. Только внимательный разбор подробностей происшествий того времени может объяснить нам причины сих дивных переворотов, важным следствием коих было изменение в общественном устройстве самого многолюднейшего сословия в России.

Восемнадцатого марта 1584 года смерть прекратила ужасные дни Грозного. Казалось, русским оставалось только с восторгом благодарить Всевышнего за избавление свое от мучительств его. Но люди, искренне преданные отечеству, не без трепета встречали новое царствование. Известное всем слабоумие Феодора, сына и преемника Иоаннова, давало повод опасаться, чтобы через безуправство не помрачилось величие государства. Нельзя было не признаться, что свирепая, но мощная рука царя Иоанна не без пользы действовала к довершению великих начинаний глубокомысленного деда его, великого князя Иоанна III, настоящего основателя российской монархии. Но через бессилие недужного Феодора Россия могла снова утратить столь дорогой ценой ею приобретенные блага.

Впрочем, события, казалось, не оправдали сих опасений. Феодор, равнодушный ко всем почестям и обязанностям своего высокого сана, любил только на сем свете колокольный звон и достойную супругу свою, царицу Ирину, родной брат которой, Борис

Феодорович Годунов, находился уже в боярском звании еще при жизни покойного царя. Сему хитрому, честолюбивому вельможе, одаренному от природы необыкновенными способностями, нетрудно было через посредство нежно привязанной к нему сестры овладеть совершенно царем и его именем управлять государством. Ему обязана Россия, что четырнадцатилетнее Феодорово царствование справедливо почитается одной из счастливейших эпох в ее истории. Внутреннее благоденствие народа, укрощение опасного черемисского бунта, озаботившего последние годы правления Иоаннова, возвращение силой оружия от шведов Ивангорода, Ямы, Копорья и Кексгольма, упрочение и распространение завоева-

ний в Сибири и, наконец, уничтожение зависимости российской церкви от цареградской посредством установления самобытного патриаршества в Москве доказали правительственную мудрость Годунова и, казалось, служили верным залогом прочности российского могущества. Однако среди сих славных подвигов два действия воли Годунова, одно преступное, другое, может быть, по тогдашним обстоятельствам необходимое, посевали уже семена будущих зол. Говорим об убиении царевича Димитрия и о законе касательно укрепления крестьян.

Смерть царевича была нужна Годунову для исполнения дерзких замыслов его. Правитель (сам патриарх так называл Годунова), упоенный властью безмерной, с ужасом рассчитывал, что мгновение могло лишить его оной. Все зависело от жизни царя, которому слабое сложение тела не обещало ни многолетия, ни потомства. Единственным наследником его был восьмилетний брат его, царевич Димитрий, живший с матерью своей, из фамилии Нагих, в данном ему в удел городе Угличе. При воцарении Димитрия Годунов неминуемо сделался бы жертвой закоренелой ненависти к нему Нагих. К естественному желанию отвратить грозящую ему опасность присоединились еще в сердце Годунова и обольщения верховного сана. Уже царь на деле, он хотел быть и царем по имени. Один Димитрий заграждал ему путь к престолу: участь царевича была решена!

Замышляя погибель его, Годунов искал сперва обесславить его в общем мнении. Приверженцы правителя рассевали повсюду, что царственный отрок выказываемой им в играх и разговорах лютостью уже уподоблялся зверскому отцу своему[1]. С другой стороны, основываясь на происхождении его от седьмого брака, православной церковью запрещаемого, Годунов выставлял его незаконнорожденным и запретил поминать его имя на литургии. Позволительно предполагать, что правитель некоторое время думал сим средством отстранить опасного соперника и без совершения преступления, коему еще противоборствовала его совесть. Но дальновидность его скоро указала ему ненадежность принятых мер. Нетрудно было угадать, что со смертью Феодора исчезнет всякое сомнение насчет законности рождения Димитрия в глазах народа, искренне привязанного к поколению старинных государей своих. Оставалось или отказаться от очаровательной мечты, или сделаться злодеем. Годунов выбрал последнее.

Хотя правителю удалось закупить царевичеву мамку, боярыню Волохову[2], однако бдительность нежной матери и верной кормилицы не дозволила исполнить первопринятого намерения тайно извести Димитрия. Прибегнули к злодейству открытому. Посланные от Годунова в Углич убийцы Данило Битяговский и Никита Качалов с помощью мамкинова сына Осипа Волохова зарезали царевича пятнадцатого мая 1591 года около полудня, на крыльце занимаемого им дворца. Встревоженный страшной вестью углицкий народ толпами бросился к дворцу и в исступлении горести, при виде бездушного трупа, убил трех злодеев и с ними отца Битяговского и еще трех человек и одну женщину, подозреваемых в участии в преступлении. Если взять в соображение, сколь нужно было Годунову прервать все нити, по наущению его же приверженцев городские жители самоуправно отомстили за смерть царевича.

Успокоенный касательно явных против себя улик, правитель еще тревожился слухом о народной молве, грозно указывающей на него как на первого виновника преступления, которое никому иному и полезно быть не могло.

Дабы избавиться от страшного нарекания, ему не представлялось другого средства, как стараться доказать, что самое преступление было вымышленное. Хотя трудным казалось в ложном виде выставить происшествие, коему свидетелем был, так сказать, целый город, однако Годунов отважился на сие предприятие, и лукавство его и тут увенчалось успехом почти неимоверным.

По повелению его отправлены были немедленно из Москвы в Углич три следователя, а именно боярин князь Василий Иванович Шуйский, окольничий и царский дядька Андрей Васильевич Клешнин и дьяк Вылузгин. Клешнин был известным угодником правителя. Ничтожность Вылузгина сокрыла от потомства его образ мыслей; нет сомнения, однако ж, что он избран был из числа преданнейших слуг Годунова. Но все покрылось громким именем Шуйских. Никому безызвестно не было, что сии горделивые потомки государей Суздальских явно враждовали Годунову, который, платя злобой за злобу, в недавнем времени еще приказал удавить двух бояр Шуйских, князя Андрея Ивановича и племянника его, знаменитого защитника Пскова, князя Ивана Петровича. Поэтому назначение князя Василия Ивановича казалось действием смелым, являющим беспристрастие правителя. Но он уже успел преклонить на свою сторону князя Василия Ивановича. Сей вельможа, сам едва ли уступавший Годунову в лукавстве и честолюбии, убедился, что в неравной борьбе с обладателем государства он только изготовил бы себе неминуемую гибель, и потому решился отказаться от семейной ненависти и сблизиться с убийцей своих сродников, в ожидании от него важных для себя выгод и почестей. Годунов, желая упрочить примирение с ним, выдал свояченицу свою, девицу Екатерину Скуратову, за меньшого его брата, князя Димитрия.

Легко себе вообразить, что таковые следователи действовали по направлению Годунова. Единодушное свидетельство углицких жителей было устранено, а основанием розыска приняты показания некоторых лиц, закупленных или застращенных[3]. Царю донесли, столице объявили, что царевич сам закололся в припадке падучей болезни. Сей изворот тем приятнее был для Годунова, что давал ему повод дать восчувствовать гнев свой тем, кои искренне оплакивали Димитрия. Наказуя будто бы небрежение о царевиче, Нагих разослали в отдаленные города, а вдовствующую царицу, постриженную поневоле и нареченную Марфой, заключили в монастырь[4]. Угличане также не укрылись от злобы правителя: их укоряли в пролитии мнимо невинной крови убийц царевичевых. До двухсот из них были казнены, другие рассажены по темницам, а большую часть вывели в Сибирь и населили ими город Пелым[5]. Запустение древнего Углича осталось для потомства печальным памятником мести и преступления Годунова.

Выказывая свое могущество погублением противников своих, вместе с тем правитель убеждался в необходимости воспользоваться первым случаем, дабы умножить во всех сословиях число своих приверженцев благодеяниями, щедрой рукой излиянными.

Сей случай не замедлил представиться, и столь для него благовремено, что современники не усомнились приписать оный его же тайным побуждениям. Москва загорелась двадцать второго мая не случайно, а по злоумышлению и, утверждают, по повелению Годунова[6]. Пожар был ужасный. Уцелели только Кремль и Китай-город. Сие бедствие уже тем было полезно для Годунова, что отвлекало умы от толков о смерти царевича. Но правитель сим не удовольствовался. Он явился среди отчаявшихся москвитян в виде ангела-утешителя, сыпал деньгами, давал льготные грамоты, одним словом, не только всякий получил нужное пособие, но даже для многих вознаграждение превышало убытки. Неминуемым следствием сей расчетливой расточительности было то, что все нарекания против Годунова умолкли, и имя его громко славилось в столице[7].

Таким образом, правитель приближался к своей цели, как вдруг нечаянное событие едва не ниспровергло все его замыслы. Царица Ирина оказалась беременной и четырнадцатого июня 1592 года родила дочь Феодосию. Но сия неожиданная соперница недолго беспокоила Годунова: она скончалась в следующем году, и преждевременная смерть ее навлекла новое подозрение на правителя.

Другое действие воли Годунова, не менее смерти царевича Димитрия пагубное для России по последствиям своим, было, как уже сказано, укрепление крестьян.

Исстари в России люди низшего состояния разделялись на два сословия: *холопей,* находившихся в домашней службе не только у чиновных людей, но и у купцов, и *крестьян*, упражнявшихся в сельских занятиях. Холопы также были двух родов: полные и кабальные. Полными назывались те, которые находились, с потомством своим, в вечном и потомственном владении у господ своих. Кабальные же, также с происшедшими от них, были крепки тому господину, которому давали на себя кабалу только на время его жизни; по смерти же его опять получали свободу. Всякий вольный человек, не исключая и крестьян, имел право не одного себя, но даже и детей своих записывать в полные или кабальные холопы к какому бы то ни было господину. Что касается до крестьян, то они всегда были людьми вольными, не имевшими, впрочем, собственности недвижимой. Они пользовались важным правом произвольно переходить ежегодно из одного селения в другое, рассчитавшись предварительно с прежним владельцем. Дабы не делать помешательства в сельских работах, срок перехода положен был по окончании оных и ограничивался двумя неделями, а именно за неделю до осеннего Юрьева дня и через неделю после оного. Крестьяне, в вознаграждение за предоставляемые им участки земли, работали на владельца и вместе с тем платили в казну подать, которая обеспечивалась посеянным на их участкам хлебом.

В сем, так сказать, кочевом состоянии крестьяне хотя и не могли никогда благоденствовать, ибо владельцы, не радея о временных работниках своих, обременяли их трудами непомерными, а сироты, увечные, престарелые оставались без приюта и призрения, основывая всю надежду свою пропитаться на прихотливых побуждениях сострадания чужих людей, однако же важных государственных неудобств не представлялось, пока Россия пребывала в стесненных границах и, в особенности, пока удельная система разрезывала ее на мелкие владения. Но когда с водворением единодержавия и расширением пределов государства круг перехода крестьян чрезвычайно увеличился, бродяжничество их со дня на день становилось вреднее. Зло сие дошло до высочайшей степени с покорением Казани и Астрахани, обезопасившим все пространство земли, между Цной и Волгой лежащее. Сия обширная, плодородная страна, редко населенная мордвой, чувашами и татарами, представляла важные выгоды для новых переселений. Нетрудно было сильным вельможам и богатому духовенству приобрести там пустопорожние земли и переманивать на оные поселян из внутренних областей России, к крайнему разорению бедных мелкопоместных владельцев, не имевших возможности доставлять крестьянам своим льгот и выгод, предлагаемых выходцам зажиточными людьми. Первым следствием сего было запустение сел и деревень в окрестностях самой столицы, как свидетельствует о том очевидец, английский посланник доктор Флетчер, бывший в Москве в 1589 году. Годунов, с одной стороны, предусматривая ослабление государства от могущего произойти в самых недрах оного безлюдства, а с другой – желая угодить мелкопоместным владельцам, составлявшим в тогдашнее время главную военную силу России, прибегнул к мерам решительным. Увлекаясь примером соседственных земель – Литвы, Лифляндии и Эстляндии, где с давнего времени крепостное право владельцев селений распространялось и на жителей оных, он запретил переход крестьян и велел им оставаться навсегда в тех местах, где они значились по переписным книгам, составленным в 1593 году. Впрочем, и тут закон не предоставлял их еще в полное распоряжение владельцев, так что никто не мог своего крестьянина, против воли его, обратить в полное или кабальное холопство[8].

Сим важным постановлением не ограничился правитель в преследовании бродяжничества. В 1597 году повелено все крепости на полных холопей и все кабалы на кабальных записывать в книги в Холопьем приказе и запрещено холопам выкупаться от кабалы взносом той суммы, за которую они закабалились. При сем случае сделан разбор вольным людям, служащим у господ без кабал. Тем из них, которые у кого служили менее полугода, предоставлено было на волю или закабалиться тому же господину или искать другого; но что каса-

ется до людей, служивших полгода или более беспрерывно у одного господина, то таковому выдавалась на них кабала, даже и без их согласия, по той причине, *что он их кормил, одевал и обувал*[9].

Сии распоряжения, столь стеснительные для личной свободы людей низших сословий, неминуемо должны были породить в них сильное негодование. Сожаление их об утраченных правах сохранилось даже до наших времен в следующей народной пословице: «Вот тебе, бабушка, Юрьев день!» Годунову нельзя было не знать о всеобщем ропоте, но он полагал, что может пренебречь неудовольствием народного класса, хотя и самого многолюдного, но бедного, безоружного и, следственно, беззащитного. Увидим, что он обманулся в своем расчете и что он сам и Россия дорого заплатили за сию ошибку.

Феодор тихо приближался ко гробу, не оставляя по себе наследника, которого, по тогдашнему образу мыслей, можно было бы назвать законным. Московский великокняжеский дом гибнул под ударами собственных чад своих. Так как все помышления глубокомысленных государей сего дома устремлялись к водворению единодержавия и к учреждению престолонаследования по праву представления первородства, а не по старейшинству в роде[10], то для достижения сей важной двоякой цели они даже не дорожили связями семейными. Самые ближние кровные их сделались жертвой мрачной политики. Иных умерщвляли, других предавали вечному заточению. Так сгубили: Василий Темный двух двоюродных братьев, Василия Косого и Димитрия Шемяку, и третьего правнучатого, Василия Боровского с тремя сыновьями его; Иоанн III родного внука своего, Димитрия Ивановича, и родного брата Андрея Углицкого с двумя сыновьями его; Василий Иванович – правнучатого брата Василия Шемяку Рыльского; правительница Елена – деверей своих, князей Юрия и Андрея Ивановичей, и, наконец, сам царь Грозный – двоюродного брата, князя Владимира Андреевича, и двух сыновей его. Кроме того, великие князья неохотно позволяли братьям своим вступать в брак, отчего некоторые из них умирали холостыми. При таких противных распложению действиях неудивительно, что царский корень, хотя от природы одаренный довольно замечательной плодовитостью, иссякал и что одинокий Феодор оставался без сродников, даже дальних, по мужскому поколению.

Впрочем, хотя племя московских государей решительно пресекалось, однако много еще было в России князей, имевших в Рюрике и Мономахе общих с ними родоначальников, но никто и не мыслил, чтобы в сих боковых отраслях, униженных местничеством, могло еще сохраниться право на наследование престола царского.

В наше время мало понимают местничество. Историки, не исключая и самого Карамзина, приписывают изобретение сего чудного учреждения единственно сумасбродному тщеславию старинной нашей аристократии, а вкоренение оного беспечному послаблению московских государей. Но кто же были сии государи? Летописи указывают нам, что местничество, начало свое восприявшее при Иоанне III[11], размножилось при сыне его Василии Ивановиче, а утвердилось и сделалось настоящим государственным учреждением при Васильевом сыне, Иоанне Грозном, который письменным законом указал оному правила и пределы. Можно ли с правдоподобием осуждать в беспечности и послаблении государей, отличавшихся необыкновенной дальновидностью и чрезвычайной твердостью, часто доходившей даже до лютости, и не должно ли, напротив того, полагать, что государи сии сами желали введения местничества, не без важных на то политических причин, которые даже и угадать нетрудно! Стоит только вспомнить, что главнейшим государственным делом того времени было водворение и упрочение единодержавия. Покорение князей удельных водворяло уже единодержавие, но еще для упрочения оного нужно было уничижение их потомков. Для достижения сей цели московские государи со свойственной им проницательностью избрали орудием местничество. Так как служба в московском войске была первой обязан-

ностью покоренного удельного князя, то неминуемо он должен был находиться под начальством боярина, коему вверено было войско. Сию случайную подчиненность старались обратить в постоянную. Есть врожденное чувство, даже и в наше время в сердцах не совсем угасшее, по коему сын знатного сановника считает себя выше сына чиновника, под начальством отца его служившего. Основываясь на сем, местничество постановило правилом, что когда кто начальствовал над кем, то сын начальствовавшего не может без позора находиться на службе ниже сына того, кто был подчинен отцу его[12]. Таким образом, в новоучреждаемой в XVI веке аристократии для подавления прежних знатнейших родов Квашнины, Бутурлины, Воронцовы, Шереметевы и многие другие дворянские фамилии вступили на высшую степень достоинства перед князьями Долгорукими, Лобановыми, Гагариными и прочими потомками Рюрика. В сем положении могли ли сии еще мечтать о правах своих на престол великокняжеский?

Однако нельзя пройти в молчании, что род князей Шуйских, происходящих от великого князя Андрея Ярославича, второго брата Александра Невского, и, следственно, составляющий отрасль, ближайшую всех прочих от московской ветви, не утратил еще своей знаменитости и мало кому уступал в первенстве. Представителем прав сего рода по первородству был князь Михайло Васильевич Шуйский-Скопин, коего природа как бы приуготовляла к высокому назначению, одарив его свойствами необыкновенными, достойно развившимися к чести и славе Отечества. Но будущий герой был еще двенадцатилетним сиротой и имел только дальних родственников, из коих ближайший, правнучатый дядя его, князь Василий Иванович Шуйский, уже предавшийся правителю, нелегко бы решился отказаться от ожидаемых от него милостей для подержания прав отрока, коего польза мало касалась до него.

Если обратиться к женскому поколению царского дома, то и в оном Годунов не опасался уже соперничества. Ближайшей сродницей царю Феодору в сем поколении была его внучатая сестра, вдовствующая королева Ливонская, Мария Владимировна, дочь князя Владимира Андреевича Серпуховского[13]. После смерти супруга ее, мнимого короля Магнуса, она с малолетней дочерью своей, Евдокией, смиренно жила в курляндском городе Пильтене, купленном Магнусу отцом его, королем датским. Но Годунов еще в 1587 году успел и мать, и дочь зазвать в Москву, обещая матери богато устроить участь ее и приискать ей достойного жениха. По прибытии же их в столицу объявили несчастной матери, что она должна постричься, если не хочет быть разлучена со своей дочерью и окончить дни свои в темнице. Мария избрала монастырь, утешаясь мыслью, что удержит при себе милое дитя[14]. Но Евдокия могла ли избежать участи, ожидавшей тех, коих существование тревожило Годунова? Она скончалась в 1589 году, и если верить преданиям, то смерть ее была не естественной. Горестная мать еще провела несколько лет в глубокой печали и, наконец, сама скончалась в 1597 году[15]. После нее остался ближайшим сродственником Феодору, по царскому женскому поколению, его внучатый племянник князь Феодор Иванович Мстиславский, которого бабка, княгиня Настасья, была дочь царевича Казанского, Петра, и царевны Евдокии, дочери великого князя Иоанна III. Но правитель не опасался князя Мстиславского. Сей слабодушный вельможа, совершенно чуждый обольщениям властолюбия, искренно страшился тяжкого бремени венценосцев и твердо хотел всегда оставаться первым подданным. К тому же он столь боялся Годунова, что даже дал ему обещание не вступать в брак. Хотя сестра Мстиславского, Настасья, при брате своем не могла иметь ни малейшего права на престол, но она была в замужестве за Симеоном Бекбулатовичем, царевичем татарским, которого царь Иван Васильевич, при учреждении[16] опричнины, объявил царем и великим князем всея России, а потом, когда уничтожил опричнину, то велел управлять ему Тверью с наименованием царя и великого князя Тверского. Сии чрезвычайные почести, подкрепляемые свойством с царским домом, придавали такую знаменитость Симеону, что, несмотря на довольно ограниченные

способности его, многие помышляли о возведении его на царство по ожидаемой кончине Феодора. Сия мысль, сообразная духу местничества, в особенности должна была нравиться великим боярам, которые охотнее подчинились бы тому, кто, нося хотя только имя царя, стоял уже на высшей перед ними степени достоинства, чем кому-либо из среды их же самих избранному и, следственно, дотоле им равному. Сие расположение умов не могло укрыться от Годунова. По повелению его Симеон был изгнан из Твери и сослан в одну из своих деревень, но и тут казался еще опасным правителю, который будто бы в знак доброжелательства прислал ему на именины испанского вина. Симеон выпил оного и ослеп, как сам полагал, от смешанного с вином ядовитого зелья[17].

Сими злодеяниями очистив себе путь, Годунов старался поселить в умах понятие, что по пресечении царского корня венец никому приличнее поднесен быть не может, как ближайшему родственнику последнего государя, без разбора о происхождении сего родственника. Многие, вероятно, полагали действие сего правила обратить в пользу дома Романовых, вообще любимого в народе по воспоминанию о добродетельной матери царя Феодора Иоанновича, царице Анастасии Романовой, из сего дома произошедшей. Ближайшим родственником царя был двоюродный его брат, а царицы Анастасии родной племянник, боярин Феодор Никитич Романов. Не так рассчитывал Годунов! По наущению его царь духовным завещанием отказывал престол супруге своей, царице Ирине[18]. Честолюбец знал, что смиренная Ирина не пожелает царствовать, но для исполнения замыслов своих ему нужно было положить державу в руку ее хотя бы на несколько дней. Таким образом, последним государем был бы уже не Феодор, а Ирина, а у нее мог ли быть родственник ближе брата ее родного?

Все совершилось по желанию правителя. Седьмого января 1598 года Феодор скончался, и с ним пресеклось на престоле царское поколение, семьсот тридцать пять лет сряду дававшее повелителей России! Феодор, умирая, оставил, по словам важного современного акта, «на скипетродержании Российского царства» царицу Ирину. В сей решительный час Годунов бодрствовал. Он немедленно напомнил боярам, что должно присягнуть царице. Никто не только не противился, но даже все с радостью видели в воцарении Ирины удобнейшее средство к удалению роковой минуты, где должно будет заняться опасным и затруднительным выбором нового государя. Чиновники и граждане, одинаковыми чувствами одушевленные, с усердием последовали примеру знатных сановников.

Ненадолго успокоилась Москва. Пятнадцатого января царица объявила, что, желая принять монашеский чин, отрекается от престола и вверяет правление боярам и патриарху до тех пор, пока успеют собраться в Москве все чины Московского государства для избрания нового царя. Напрасно духовенство, сановники и граждане заклинали Ирину именем сиротствующего отечества не оставлять державы: она пребыла непреклонной и удалилась в Новодевичий монастырь, где и постриглась под именем Александры.

Годунов последовал за ней, по-видимому, оставляя бразды правления на произвол судьбы, как бы сам ища успокоения после утомительных трудов. Но многочисленные приверженцы его не дремали! Они повсеместно внушали гражданам, что одна, на опыте доказанная государственная мудрость Бориса может в сих трудных обстоятельствах сохранить величие и спокойствие России. Подстрекаемый сими ухищрениями, народ толпился в Кремле вокруг палаты, где заседали патриарх и бояре. Вышедший из оной государственный дьяк и печатник Щелкалов предложил, чтобы все целовали крест на имя Думы боярской. Ему отвечали, что не хотят и знать бояр и что присягали уже царице, которую и в черницах почитают государыней своей[19]. Щелкалов доложил о сем Думе, и снова вышел к народу, объявляя, что царица решительно не хочет заниматься делами светскими и что, если не присягнут боярам, то должно страшиться смут, от безначалия происходящих. Тогда все возопили: «И так да царствует брат ее!» Патриарх Иов, обязанный высоким своим саном Годунову, был

ему совершенно предан. Бояре же, легко угадывая, что все уже уготовлено самим Борисом для исполнения давнишних замыслов, не смели противоречить. Положили немедленно идти всем собором в монастырь, дабы просить царицу благословить на царство брата своего. Но сие избрание не казалось довольно торжественным Борису. Желая получить державу не от одной Москвы, но от целой России, он лицемерил, клялся, что никогда не смел и помышлять о венце Мономаховом, говорил, что в России много вельмож, превышающих его знатностью и мудростью, и, наконец, решительно отрекся от престола, присовокупив, впрочем, что не жалеет себя для службы Отечеству, и *с боярырадети и промышляти рад не токмо по-прежнему, но и свыше первого*[20].

Бояре поняли значение сих слов: Борис, оставляя за ними призрак власти, не хотел ни выпускать из рук своих сущность оной, ни дать родиться мысли, что и без него государство обойтись может. Решили, что в ожидании постановлений созываемого великого Земского собора Боярская дума будет управлять именем царицы-инокини Александры. Само собой разумеется, что на самом деле ничего не творилось без соизволения Годунова.

Между тем клевреты его действовали усердно не только в столице, но даже и во всей России; их старанием разнеслась молва о нападении хана Крымского, и они внушали, что для защиты Отечества от угрожаемой опасности непременно нужно ускорить избранием в цари мужа опытного![21]

Государственный Земский собор открылся в Кремле семнадцатого февраля. Он состоял из знатнейшего духовенства, бояр, дворян и выборных людей из всех городов российских, всего около пятисот особ[22]. Прений не было. Патриарх первый предложил избрать на царство Бориса Феодоровича Годунова. Согласие многочисленного собрания было громогласное и единодушное. Долго раздавалось одно имя Бориса. Многие искренне видели в его воцарении залог будущего благоденствия России. Другие, может быть, в сердце своем питали ненависть к счастливому честолюбцу и не без внутреннего омерзения содействовали успеху замысла, на злодеянии основанного; но, как всегда бывает в подобных случаях, опасаясь обнаружить настоящие чувства свои, более всех предавались восторгу.

Дабы отвратить в народе всякое подозрение насчет искренности отказа Годунова от престола, патриарх посвятил следующие два дня на моления в Успенском соборе, чтобы Всевышнему угодно было смягчить сердце Борисово и склонить его не отказываться от бремени, Отечеством на него налагаемого. Только двадцатого числа святитель с главным духовенством и боярами отправился в Новодевичий монастырь объявить Годунову о решении Земского собора. Но Борис еще не переставал хитрить. Он не только вторично отвергнул подносимую державу, но и клялся, что никогда не примет ее, и с притворным гневом выслал из монастыря духовенство и вельмож.

Наконец, двадцать первого февраля настал последний день сего игрища. На рассвете духовенство с крестами и хоругвями вышло из Кремля и, при колокольном звоне и пении, церковным ходом отправилось в Новодевичий монастырь. Потом шли бояре, дворяне, боярские дети, приказные и выборные люди. За ними поднялась вся Москва. Все пали перед царицей-инокиней, прося ее, чтобы повелела Борису не противиться воле Божией и народной. Патриарх объявил даже, что если желание народное не будет выполнено, то он не только Годунова отлучит от церкви, но что даже он сам и все епископы сложат с себя святительский сан, оставят кресты и хоругви в Новодевичьем монастыре и запретят во всех церквах всякое священнодействие. Царица долго колебалась, наконец, благословила брата на царство. Годунов еще упорствовал. Но царица уже решительно требовала от него повиновения, и он с притворным смирением и как бы не смея противиться той, которую еще почитал своей государыней, объявил, наконец, что исполнит желание народное. Радость была неописанная. Все плакали, обнимали друг друга. Казалось, что новое царство прочно основывалось

на торжественном единомыслии всех сословий. Но горе тому, кто безусловно полагается на любовь народную, столь прихотливую и столь переменчивую!

Еще три года продолжалось счастье Бориса и благоденствие России. В делах внешних царь, не обнажая меча, умел сохранить достоинство своей державы и внушить всем соседям своим должное к себе уважение: царь иверийский искал его покровительства от утеснений султана турецкого и шаха персидского, крымские татары оставались в улусах своих, не смея тревожить набегами южные пределы России. Шведы тщательно старались не давать повода к новому разрыву. Один король польский медлил продолжать перемирие, заключенное пятнадцатого августа 1587 года на пятнадцать лет между Россией и Польшей, но, когда срок перемирия приблизился, и он оказался податливее. Присланные от него в Москву послы подписали одиннадцатого марта 1601 года договор, по силе коего перемирие продолжено еще на двадцать лет, считая с истечения прежних пятнадцати.

Внутреннее управление государства отличалось также счастливым слиянием твердости и кротости. Трепетали одни злодеи! Умеренность в налогах, свобода в торговле и общая безопасность повсюду открывали новые источники промышленности и богатства. Казалось, что сие цветущее положение Отечества должно было усугубить любовь народную к Борису. Явилось противное!

Для людей, одаренных необыкновенными способностями, часто бывает камнем преткновения нескромное желание опережать свой век. Редко сие удается, и немного петров великих в истории. Самому мудрому Борису суждено было испытать на себе, что истинно государственный человек не должен замышлять нового, к которому соотечественники его еще достаточно не приготовлены. Вообще в России гнушались иностранцами и их обычаями, а всякое иноверческое богослужение было даже предметом набожного омерзения. Несмотря на то, царь, умевший ценить европейское просвещение, прельстился оным. Он не только ласкал иноземцев, но даже для удержания их в Москве честил и награждал их более, чем вернейших своих русских слуг, и, наконец, в угождение им позволил выстроить в Яузской слободе лютеранскую церковь с колокольней. Он также имел намерение завести университет, а между тем, дабы приохотить русских к наукам, послал восемнадцать молодых детей боярских учиться в Любек, в Лондон и во Францию. Не ограничиваясь сим, он коснулся и старинных обычаев и видел с удовольствием, как при самом дворе его пожилые люди, желавшие ему подслужиться, подстригали себе бороды[23]. Сто лет спустя Петр I, царский сын и внук, едва мог себе позволить таковые действия. Но для новой династии Годуновых не было другого средства укорениться, как тщательно стараясь всеми возможными нитями связаться с прошедшим, без всяких помышлений о небывалом. Борис, в упоении самонадеянности, дотоле чудным успехом оправдываемой, не постиг настоящего своего положения и без нужды подал повод недоброжелателям своим возбуждать негодование в народе. Не должно забывать при сем случае, что, несмотря на блестящее состояние государства, было много недовольных. Истинно преданным царю можно было только почитать средний класс народа, состоящий из купечества, обогащавшегося под сенью его твердого и умного управления, и мелкопоместных помещиков, коих благосостояние обеспечивалось запрещением перехода крестьян. Но самое запрещение сие оставляло в сильном неудовольствии как земледельцев, оплакивавших утраченную свободу, так и больших владельцев, видевших в новом постановлении ограничение выгод своих. Вольные слуги, против воли в холопство обращенные, также не могли доброжелательствовать Борису. К тому же и гордым вельможам неестественно было бы без досады преклонять колена перед бывшим товарищем, коего большая часть из них превосходили знатностью породы.

Известившись о всеобщем ропоте, царь изумился. Но вместо изыскания надежнейших средств к прекращению неудовольствий он обратился к мерам, долженствовавшим усугубить оные. Не доверяя никому, он стал поощрять наушников и доносчиков. Язва доносов,

едва ли не более всех прочих зол отягчающих человеческие общества, кажется им несносной, потому что, охлаждая гражданские и семейственные связи, она лишает каждого естественного приюта от кручин, с жизнью сопряженных. Легко себе вообразить, что ненависть к Борису усилилась.

Знаменитейшей жертвой подозрений царя сделалось семейство Романовых. Борис уже и на престоле тревожился еще мыслью, что по смерти его молодой Феодор, сын его, может найти опасных соперников в Романовых, отличавшихся собственной знатностью, сильно подкрепленной родственными связями с первейшими фамилиями в государстве. Сначала он искал сблизиться с ними. Феодор Никитич был уже боярином. Борис дал еще боярство второму его брату Александру, а меньшую сестру их Ирину выдал замуж за свойственника своего Ивана Ивановича Годунова. Но, когда говор общего негодования дошел до него, то, возмечтав, что тайными виновниками оного были Романовы, он стал искать случая погубить их. Подкупленный свойственником царя, Семеном Годуновым, слуга Романовых, Бартенев, донес, что господа его умышляют извести царя, и в доказательство представил найденные в кладовой у Александра Никитича мешки с кореньями, приготовленными, как уверял он, для отравления Бориса. Как будто бы злодейские припасы хранятся в кладовых? Несмотря на нелепость обвинения, Дума боярская в угождение царю осудила Романовых[24]. Феодора Никитича и супругу его, Ксению Ивановну, постригли против воли, нарекли Филаретом и Марфой и сослали в дальние монастыри. Опала распространилась и на всех ближних их. Также были разосланы по северным городам и монастырям Феодора Никитича сын и дочь, теща, четыре брата, сестра (девица) и две сестры замужние с супругами их, князьями Сицким и Черкасским, и с сыном последнего. Сродники Романовых, князья Сицкие, Шестуновы, Карповы и Репнины подверглись такой же участи. Всех сих несчастных вотчины и поместья роздали другим, а дома и движимое имение взяли в казну. Не коснулись только одной из сестер Романовых, Ирины Годуновой, уважая в ней имя супруга ее.

Гибель сих знатных вельмож, очевидно невинных, усилила раздражение умов против царя. Впрочем, еще зло могло называться частным; общее спокойствие государства оставалось ненарушимым под сенью твердого управления Бориса, и сие обстоятельство, казалось, упрочивало державу в сильной руке его. Но час суда Божия уже наступал для венценосца, злодейством достигшего верховного сана! Вся внутренняя мудрость его должна была сокрушиться перед готовившимся для целой России одним из ужаснейших бедствий, коими Провидение в неисповедимых советах своих казнит народы и коих никакая предусмотрительность человеческая отвратить не может!

Весной 1601 года начались проливные дожди и продолжались непрестанно в течение десяти недель[25]. Посеянный хлеб не созревал. Устрашенные земледельцы всю надежду свою возлагали на поздние жары; вместо того пятнадцатого августа сделался сильный мороз, побивший не только не дозревшие колосья в полях, но и всякого рода плоды и овощи в садах и лесах. Сжатый после столь преждевременной стужи хлеб оказался не только в малом количестве, но и без надлежащей питательности. Хотя еще много было запасов старого хлеба, но цена на жизненные припасы чрезмерно возвысилась. Для бедных пропитание сделалось затруднительным. Общая беда разорвала в народе последние узы преданности к Борису, уже не могущему славиться счастливым царствием. Волнение и ропот столь усилились, что царь почел нужным несколько утешить земледельцев. Он знал, сколь ненавистным для них казалось запрещение вольного перехода от одного владельца к другому, но не хотел отменить постановления, основанного на важных государственных причинах и привлекающего к нему сердца мелкопоместных военных людей. Дабы не лишить своей державы сей последней опоры, он решился допустить только некоторые исключения, лестные для земледельцев, но безобидные для целого класса мелкопоместных владельцев. В ноябре 1601 года царь объявил, что позволяет переход крестьян в Юрьев день и две недели спустя оного, но только от

одного мелкопоместного помещика к другому таковому же, и с тем еще ограничением, что один владелец мог переманивать в один срок не более двух крестьян. Впрочем, сия льгота не касалась Московского уезда, где запрещение перехода оставалось во всей силе, так же, как и для крестьян царских и владельцев духовных и великопоместных во всем государстве. Нетрудно угадать причину сей разности в последнем отношении. У богатых владельцев крестьяне были счастливы и спокойны; в угнетении находились только земледельцы у мелких помещиков, следственно, не было нужды изменять положения первых. Не так легко объяснить, почему льгота не распространялась на весь Московский уезд; впрочем, с некоторой вероятностью можно предположить, что тамошние мелкопоместные владельцы не смели, так сказать, под глазами правительства во зло употреблять свою власть, и что, с другой стороны, народонаселение сего уезда находилось в таком цветущем положении, что правительство не желало ни уменьшения, ни умножения оного[26].

Может быть, Борис успел бы восстановить спокойствие в государстве, если бы небо перестало карать Россию. Но, к сокрушению ее, за первым неурожайным годом последовали два такие же. Наши летописцы приписывают вину неурожая 1602 года легкомыслию самих земледельцев[27]. В России всегда стараются засевать поля новым хлебом, считая, что оный способнее старого для произращения. Крестьяне, всегда руководимые слепым обычаем, не усомнились и тут последовать оному и употребили в посев новый хлеб, тощий и совершенно лишенный растительной силы. Нигде не было всходов. Что касается до неурожая 1603 года, то современники не объясняют нам причину оного. Из сего можно заключить, что настоящего неурожая не было, но что мало собрали хлеба единственно от того, что большая часть полей осталась незасеянной, как от недостатка зерен, так и от изнурения телесных сил пахарей.

Голод свирепствовал с необычной лютостью. Современники, к ужасу позднейшего потомства, передали нам страшное описание последствий оного. Дороговизна хлеба сделалась непомерной. Четверть ржи, обыкновенно продаваемая от двенадцати до пятнадцати копеек, возвысилась до трех рублей, составляющих десять нынешних серебряных[28]. Люди, нуждой доведенные до отчаяния, явно попирали не только священнейшие правила нравственности, но даже самые законы природы, и, в остервенении своем уподобясь злейшим из зверей, пожирали друг друга. Все связи общественные и семейные расторгались. Господа изгоняли слуг своих, мужья покидали жен и детей, чтобы не делиться с ними скудным пропитанием. Дошло до того, что человеческое мясо продавалось в пирогах на московских рынках. Но что всего ужаснее и чего без содрогания написать нельзя – матери ели собственных младенцев своих!

Правительственные меры для отвращения сих бедствий оказались не только недостаточными, но даже в некоторых отношениях и вредными. Напрасно сраженный горестью Борис являл себя царем сердобольным и заботливым: Россия уже не видала в нем ни прежнего благоразумия, ни прежней твердости. Он не щадил сокровищ своих, но употреблял их не всегда с должной осмотрительностью. Так, например, по повелению его были учреждены в Москве, близ деревянной городской стены, четыре ограды, в коих каждое утро раздавалось бедным каждому по одной московке, а в воскресные и праздничные дни по деньге[29]. Сколь ни тягостна была сия раздача для казны, пособие для неимущих было почти ничтожно, потому что на московку едва ли можно было купить и полфунта хлеба. Несмотря на то, народ, всегда жадный к деньгам, добываемым без работы, кинулся толпами к столице, сперва из окрестных, а потом даже из дальних мест. Туда спешили даже и такие, которые на родине своей могли бы кое-как прокормиться. Неминуемым следствием такого стечения было для Москвы умножение дороговизны и нераздельных с оной бедствий. Наконец, царь

был вынужден прекратить раздачу денег. Тогда несчастные пришельцы, возвращаясь без малейшего пособия, устилали трупами своими все пути, от столицы ведущие.

Впрочем, если взять в соображение как изобилие прежних лет, так и то обстоятельство, что, кажется, неурожай не распространялся на восточные области государства, то не остается сомнения, что было еще много старых запасов в России; но, с одной стороны, корыстолюбие таило их, а с другой, трудность подвоза представляла важные препятствия. Однако Борис успел, хотя бы отчасти, преодолеть оные. Он приказал освидетельствовать царские гумна, где нашлись давнишних лет огромные скирды, которые обмолотили, и хлеб доставили в Москву. Там ежедневно продавалось бедным из царских житниц по несколько тысяч четвертей за половинную цену. Вдовам же и сиротам и в особенности немцам царь велел отпустить значительное количество даже безденежно. Такое пристрастие к иноземцам, во всяком случае, противное осторожной политике в сих плачевных обстоятельствах, оказывалось еще более оскорбительным и ненавистным. Не одни царские гумна изобиловали еще хлебом; многие помещики также не нуждались в оном и, поощренные высокой ценой, вероятно, изыскали бы средства в перевозке, если бы правительство не вмешивалось неуместно в их действия. Царь, не рассудив, что благотворение может быть внушаемо, а не предписываемо, вздумал принудить продавцов из уважения к общему бедствию отказаться от ожидаемых ими выгод и приказал отобрать у них хлеб за такую низкую цену, что, может быть, иные не получили должного вознаграждения и за понесенные ими самими издержки. Случилось, чего ожидать было должно: никто не только не смел выказывать более своего хлебного имущества, но даже все старания приложены были к сокрытию оного.

Только некоторые достойные вельможи, сжалившись над общей нищетой, стали еще продавать хранящийся в их житницах хлеб дешевле существующей цены. Но как их, так и царские щедроты не принесли всей возможной пользы от неблагоразумия раздачи. Вместо того чтобы из амбаров продавать неимущим семействам только нужное количество хлеба для их дневного пропитания, отпускали им оный без разбора. Сребролюбие воспользовалось сей оплошностью, и московские барышники посредством бедных людей накупили несколько тысяч бочек муки, которую потом перепродавали ценой непомерной.

Гораздо рассудительнее Борис поступил, приказав начать огромное каменное строение в Кремле, дабы посредством работы доставить пропитание нуждающимся[30]. Милость царская изливалась не на одних живых. Москва наполнялась мертвыми телами, коих хоронить было некому. Учрежденные приставы подбирали их, омывали, завертывали в белые саваны, обували в красные коты[31] и отвозили на три за городом устроенные кладбища, где в два года и четыре месяца таким образом похоронено сто двадцать семь тысяч трупов[32]. Если к сему присовокупить, что множество еще тел было погребаемо богобоязливыми людьми при приходских церквах, коих в столице тогда считалось более четырехсот, то смело, кажется, можно положить, что в одной Москве до двухсот тысяч человек сделались жертвой голода.

Но не одна столица бедствовала. Царь не оставил без призрения и прочие места своего государства. Ивангород, Новгород, Псков, Смоленск и другие нуждавшиеся города получили важные денежные пособия[33]. Казна царская, богато накопленная в семнадцатилетнее благоденствие России, являлась неистощимой.

Обыкновенным следствием голода бывают повальные болезни. И сего бедствия не избежала Россия: в некоторых местах, а в особенности в Смоленском уезде, явилась слишком для нашего времени известная холера *(cholera morbus)*. Правительство вынужденным нашлось учредить заставы для пресечения сообщений с зараженным краем[34].

Наконец, благословенный урожай 1604 года восстановил прежнее изобилие, так что цена четверти ржи от трех рублей упала до десяти копеек[35]. Но памятником голода осталась навсегда нововведенная мера хлеба. Прежде продавали оный только бочками и четвертями

и осьминами оных. С голодных же лет бочки вышли из употребления, а вместо того известными стали четверики, то есть четвертая часть осьмины.

Несчастная Россия долго еще не должна была наслаждаться спокойствием. Самым пагубнейшим следствием претерпенного ею бедствия было ослабление всех нравственных понятий. Разврат распространился на все сословия. Господа, до того столь тщательно старавшиеся умножать число своих холопей[36], распустили их во время голода, иные по действительной невозможности прокормить их, другие из корыстолюбия, чтобы обогатиться продажей хлеба, который, по долгу своему, обязаны были употребить на их пропитание. Некоторые из них, по крайней мере, снабжали холопов формальными отпускными, но многие, не столь совестливые, изгоняли их от себя без всякого вида, с преступной мыслью возвратить их опять к себе в подданство по миновании дороговизны. Таким образом, государство наполнилось бродягами, из коих многие, забыв страх Божий, обратились к разбойничеству. В разных местах образовались большие шайки, из коих важнейшая, под предводительством некоего Хлопка, свирепствовала в окрестностях самой Москвы и неоднократно разбивала посылаемые против нее сыскные отряды[37]. Царь наконец нашелся вынужденным противопоставить сим презренным врагам целое войско под начальством окольничего Ивана Федоровича Басманова. Хлопок не устрашился вступить с ним в бой близ Москвы. С обеих сторон сражались упорно, и Басманов был убит; но сия удача злодеев обратилась им на пагубу. Царские воины, ожесточенные смертью начальника, бросились на них с новым стремлением и, наконец, сломили их. Сам Хлопок защищался храбро, но, изнемогший от многих ран, был взят и с пятьюстами товарищами своими отправлен в Москву, где все они были казнены; многие остались на месте сражения[38]. Прочие же ушли на Украйну, где умножили число, и без того уже значительное, тамошних негодяев.

Еще царь Иван Васильевич, желая для укрепления границы России от Польши и татар населить как можно более украинские города людьми, к ратному делу способными, предписывал тамошним воеводам не тревожить тех, кои будут укрываться в сих городах, избегая заслуженного ими в России наказания[39]. Борис Феодорович последовал той же политике, и наводненная отважными злодеями Украйна сделалась опасным вертепом, где самая власть правительства не всегда находила должное послушание. Так, например, напрасно царь приказывал сыскивать и вешать удалившихся туда сообщников Хлопка. Воеводам трудно было исполнить повеление сие над преступниками, покровительствуемыми подобными же разбойниками. Бесчиние уже посевало в сей стране семена новых и пагубнейших бедствий для России.

Все ужасы, уже претерпенные государством, были, так сказать, только преддверием готовящейся для него настоящей беды. Около 1600 года[40] пронеслась в Москве молва, что царевич Димитрий, которого полагали убиенным в Угличе, находится в живых. Хотя одно имя невинной жертвы должно было казаться грозным для ее убийцы, но смерть царевича была действием столь явным, столь достоверным, что Борис мало тревожился слухом, коего неосновательность была очевидна. Однако он старался узнать, что могло подать повод к нелепой басне, и еще более успокоился, когда добрался до презрительного источника оной. Все казалось только делом бессмысленного суесловия молодого монаха, жившего у патриарха.

Сей юноша, предназначенный изумлять потомков дивными похождениями своими и служить орудием Провидения для казни преступного Бориса, был сын бедного сына боярского города Галича и назывался Юрием Отрепьевым[41]. Оставшись после смерти отца своего почти без всякого приюта, он постригся на пятнадцатом году и принял имя Григория. Но иноческий клобук не предохранил буйной головы его от порыва пламенных страстей светских. Несколько времени скитался он по разным обителям и, наконец, основался в Чудове

монастыре, в келье у деда своего Замятни-Отрепьева, который давно уже там монашествовал. Будучи одарен природой способностями необыкновенными, умом пылким и предприимчивым и отважностью, более свойственной воину, чем монаху, он вместе с тем был легкомысленным и заносчивым до безрассудности. С самого младенчества своего с успехом занимаясь книжным делом, он выучился не только читать и чисто писать, но даже сочинял каноны святым лучше старых грамотеев. Такие, по тогдашнему времени чрезвычайные, познания обратили на него внимание патриарха, который посвятил его в дьяконы и взял к себе для списывания книг. Тут имел он случай познакомиться с людьми, хорошо знавшими все обстоятельства, до царского дома относящиеся. Через них он мог узнать, что, по довольно обыкновенной игре природы, царевич Димитрий имел некоторые одинаковые с ним признаки, а именно, что у царевича, как и у него, были бородавки на лице и одна рука короче другой[42]. Мысль дерзкая, по первому взгляду вовсе сумасбродная, родилась в душе его. Он возмечтал, что может выдать себя за убиенного царевича и с помощью одного самозванства низложить Бориса, располагавшего еще всеми силами обширного государства. В упоении непостижимой самонадеянности он начал оглашать со свойственной ему ветреностью свои затеи и часто в разговорах своих с чудовскими монахами уверял их, что будет царем на Москве. Иноки, не воображая, чтобы значение сих дерзких слов заключало в себе что-либо важнее шутки, впрочем, весьма непристойной, довольствовались тем, что смеялись над хвастуном и плевали ему в глаза. Но ростовский митрополит Иона, коему сии речи переданы были, судил о них иначе. Он стал примечать за поступками наглого дьякона и убедился, что в душе его кроются опасные для общего спокойствия замыслы. Сперва митрополит счел долгом своим предупредить о сем патриарха; но первосвятитель, коему Григорий нравился, не хотел верить, чтобы он мог зазнаться до такой степени, и в самой нелепости возводимого на него преступления находил доказательство неосновательности извета. Тогда Иона решился о всех замеченных им обстоятельствах донести самому царю, который, соображая оные с носившимися уже слухами, хотя также не почел их делом, заслуживавшим большого внимания, однако приказал дьяку Смирному-Васильеву послать враля-дьякона в Соловецкую пустынь под крепкое начало. Васильев открылся о сем повелении дьяку же Семену Ефимьеву, который был родственником Отрепьевых и потому просил Васильева не спешить исполнением царской воли, дабы дать Григорию время приготовиться к дальнему пути. Васильев, не воображая, чтобы молодой монах мог быть важным преступником, не только согласился удовлетворить желанию товарища своего, но даже впоследствии, среди других забот, и совершенно забыл о данном ему приказании. Пользуясь его беспечностью, Григорий ушел из Москвы и укрылся сперва в монастыре Николы на Угреши[43], но не посмел остаться в столь близком расстоянии от столицы и удалился в город Галич, в Железноборский монастырь, откуда перешел в Муром, в Борисоглебскую обитель. Принимать таким образом в монастырях странствующих монахов нисколько противно не было гостеприимным обычаям того времени[44]. К тому же Григорий более других еще мог снискивать благосклонность незнакомых ему людей, потому что был действительно красноречив и имел наружность хоть и не красивую, но довольно привлекательную. Борисоглебский строитель дал ему лошадь и отпустил его обратно в Москву.

Проходя таким образом по разным областям государства, Отрепьев мог убедиться в общей ненависти к Борису[45] и тем самым укрепиться в мысли отыскивать престола под именем царевича. Но, рассудив, что в столице оставаться ему небезопасно и что только приготовясь исподволь и действуя сначала издалека, он мог ожидать успеха в дерзновенном предприятии, потому решился искать убежища в Польше, дабы там, под покровительством всегда неприязненного для России правительства, надежнее устроить ковы свои.

Двадцать третьего февраля 1602 года он опять выехал из Москвы в сопровождении подговоренных им двух чудовских пьянству преданных монахов, священника Варлаама Яцкого и крылошанина[46] Мисаила Повадина. На нанятых им подводах они через Болхов и Карачев достигли Новгорода-Северского, где в Спасском монастыре приняты были так милостиво, что Отрепьева архимандрит поместил в собственной своей келье[47]. Поживя тут несколько недель, Григорий стал проситься у архимандрита ехать с товарищами своими в Путивль, где, говорил он, будто имеет сродников. Архимандрит не только отпустил их, но даже дал им лошадь и провожатого. Но не Путивль был целью Отрепьева: его намерение было пройти в Польшу, и для того он взял еще с собой днепровского киевского монастыря монаха Пимена, находившегося случайно в Новгороде-Северском и обещавшего провести его за границу. По выезде своем из города монахи отогнали от себя провожатого, который хотел их направить на путивльскую дорогу, и вместо того поехали по киевской. Провожатый, возвратясь к архимандриту, донес ему об обмане. Негодование архимандрита было велико, но его ожидало еще большее огорчение. Когда он ложился спать, то нашел в изголовье постели своей записку, оставленную там Отрепьевым, следующего содержания: «Аз есмь царевич Дмитрий, сын царя Иоанна, и как буду на престоле на Москве отца своего, и я тебя пожалую за то, что меня покоил у себя в обители». Архимандрит ужаснулся, но, недоумевая, как поступить в столь неожиданным случае, решился никому не объявлять об оном.

Между тем бродячие монахи не смели прямой дорогой ехать в Киев, опасаясь пограничных застав, и поворотили сперва на Стародуб, откуда Пимен провел их лесными тропинами за польский рубеж до села Слободки. Продолжая уже безопасно путь свой через замок Лоев и город Любеч, они прибыли в Киев. Печерский архимандрит Елисей принял их в свою обитель, где и прожили они три недели, по истечении коих отправились в Острог к киевскому воеводе, князю Константину Острожскому, знаменитому поборнику православия греческой церкви против нововведенной унии, которую польское правительство силилось распространить в принадлежавших ему русских областях. Отрепьев не смел открыть почтенному вельможе своих тайных замыслов и ограничился только просьбой принять его с товарищами под свое покровительство. Набожный князь не отказался призреть бедных монахов; дьякон Григорий служил при нем на обедне; и голос его понравился ему. Беглые монахи все лето провели в Остроге, а при наступлении осени князь послал их в Дерманский монастырь. Но Отрепьев не для того бежал в Польшу, чтобы там монашествовать. Он, покинув своих товарищей, перешел в город Гощу и пристал к анабаптистам[48]. Тут, в первый раз свергнув с себя иноческий клобук, он ходил в школу, прилежно занялся науками, затвердил довольно хорошо историю и усовершенствовался в польском языке[49]. Он даже обучался и по-латыни, но не с большим успехом. Впрочем, мирные труды сии недолго занимали его. В бытность его в Киеве он познакомился с приезжавшими туда запорожскими казаками. Жизнь беззаботная и безнравственная их удалой вольницы нравилась ему. С другой стороны, он чувствовал, что, готовя себя к важному назначению, ему непременно нужно приучиться к военному ремеслу. Он решился, по весне 1603 года, ехать к запорожцам и разбойничал с ними в шайке старшины Герасима Евангелика. Воинственные наклонности его скоро получили надлежащее развитие: он научился мастерски владеть оружием и сделался отважным наездником[50].

Однако, несмотря на все усилия его, чтобы сделаться достойным высокого имени, какое желал он присвоить, нет сомнения, что все пространные замыслы его ограничились бы смеха достойным пустословием и что он ничего важного предпринять никогда не был бы в состоянии, если бы не нашел себе сильной опоры в иезуитах, которые, к счастью его и к несчастью России, узнали о его тайной думе и вознамерились воспользоваться им как орудием для исполнения собственных своих видов.

Кому неизвестны дух любоначалия и ревность к обращению в папежство сего, впрочем, ученостью и глубокомыслием знаменитого собратства? Тогда находилось оно в самом цветущем положении, и иезуиты влияние и происки свои распространяли почти на все государства обоих земных полушарий. Не стесняясь правилами строгой нравственности, они для достижения цели своей избирали средства надежнейшие, без зазрения прибегая, судя по обстоятельствам, то к высочайшей добродетели, то к злейшему преступлению, то к достохвальнейшему праводушию, то к гнуснейшему ухищрению. Могущество их в Польше сделалось неограниченным со вступлением на престол шведского королевича Сигизмунда III, государя, преисполненного ханжества. Следствия слепого доверия короля к ним оказались пагубными для Малороссии.

Более двух столетий полуденная Россия находилась под державой государей литовских или польских; но русские жители оной и под чужим ярмом сохраняли свою народность, управлялись своими соотчичами, судились своими законами и на собственном языке и, что всего важнее, безвозбранно исповедовали правоверие. Когда совершилось конечное соединение Литвы с Польшей при короле Сигизмунде Августе, русская земля и княжение Киевское были отделены от Литвы и присовокуплены к Польше. При сем случае прежние права русских были подтверждены данной королем привилегией, в коей, повторяя слова прежних привилегий, *что русские присоединяются к полякам, как равные к равным и свободные к свободным,* торжественно обещалось сохранение равенства между церквами римской и греческой и одинаковое производство в сенаторские и прочие достоинства людям обоих исповеданий. Сам Сигизмунд III при восшествии своем на престол не смел отступить от прежних правил и в 1588 году на сейме коронации подтвердил все старинные права православного русского духовенства. Но иезуиты, успевшие овладеть умом сего государя, недолго дозволили ему оставаться при сей благоразумной веротерпимости. По несчастью, они нашли сообщников в самых главнейших сановниках малороссийской церкви. Прельщенные обещаниями милостей королевских, епископы Луцкий, Владимирский, Хельмский и Пинский, архиепископ Полоцкий и сам митрополит Киевский Михайло Рагоза уговорились между собой присоединиться к римской церкви на правилах давно забытого Флорентийского собора и отправили в Рим с покорностью своей епископов Владимирского и Луцкого. Чрезмерно обрадованный папа Климент VIII милостиво принял их и обещал исходатайствовать у короля право заседать в польском сенате всем епископам, которые согласятся отстать от православия и признать его власть. Но отступники-святители много ошиблись, если полагали, что нетрудно им будет совратить с пути истины единоверцев своих. Предлагаемая ими уния (так называется соединение греческой церкви с римской) была принята с омерзением как духовенством, так и мирянами. В особенности восстали против нее Гедеон Балабан, епископ Львовский, Михайло Копыстенский, епископ Перемышльский, и князь Константин Острожский, воевода Киевский. Напрасно клятвопреступный митрополит надеялся на созванном им в Бресте соборе под надзором польских послов склонить или принудить все малороссийские епархии к принятию унии: верные сыны церкви не поколебались. Епископ Львовский доказал, что уния принимала безусловно все догматы римские, оставляя только одни обряды греческие, для обмана простодушных. Собор разделился на два, предающих проклятию один другого. Но, несмотря на явное покровительство польского сейма, к стороне приверженцев унии пристало весьма мало людей. Напротив того, православие удержало при себе несравненно большее число как духовных, так и вельмож и простых мирян. Тогда Сигизмунд, разгневанный неудачей и подстрекаемый иезуитами, решился прибегнуть к принудительным мерам. По повелению его отнимали у православных храмы их и отдавали униатам, насильно выгоняли народ на униатское богослужение, и во время оного польские жолнеры с обнаженными саблями вынуждали при чтении Символа Веры громогласно произносить римское прибавление относительно исхождения Духа Свя-

того: *и от Сына.* Наконец, терпение малороссиян истощилось. Тамошние казаки взялись за оружие под знаменами избранного ими гетмана Наливайки. Сначала действия его ознаменованы были важными успехами; но, наконец, коронный напольный гетман Жолкевский разбил казаков совершенно. Сам Наливайко был взят в плен и в Варшаве живой сожжен в медном быке. По смерти сего мученика православия поляки с лютостью торжествовали над несчастной Малороссией. На сейме 1597 года народ русский объявлен *отступным, вероломным, бунтливым.* Старинные права его все были уничтожены. Православное шляхетство отлучили от всех должностей военных и судебных и назвали холопами. Также отобрали от православных староства и ранговые имения их. Малороссия наводнилась польскими воинами, которые под предлогом подаяния нужной помощи униатам свободно бесчинствовали. Одно корыстолюбие оставило еще несколько храмов для греческого исповедания. Они были отданы на откуп жидам, которые только за деньги позволяли православным исправлять требы свои и брали с них от одного до пяти талеров за каждое служение и от одного до пяти злотов за крещение и похороны. Впрочем, гонения сии не ослабили твердости веры простого народа, который по большей части не изменил своему долгу. Но честолюбивое шляхетство показало более малодушия. Дабы не преграждать себе пути к получению староств и высших государственных достоинств, господа решились принять не только унию, но даже и самую римскую веру. Не согласуясь с соотечественниками своими в статье столь важной, какова есть религия, им неминуемо предстояло уже совершенное отчуждение от родины, что они и исполнили, заменив в общежитии своем русский язык польским. Таким образом, коренные русские вельможи, из коих многие происходили от племени Рюрика, к стыду своему, сделались настоящими поляками и способствовали им в угнетении своих единокровных.

Иезуиты не одну Малороссию готовились одарить своим лжеверием. Они хорошо чувствовали, что нельзя было Восточной церкви нанести сильнейшего удара, как отторжением от нее великороссийских епархий. С некоторых лет помышления их были устремлены на сей предмет, и одно время они питались надеждой успеть в сем важном предприятии. В 1581 году царь Иван Васильевич Грозный, желая окончания пагубной для него войны со Стефаном Баторием, королем польским, прибегнул к посредничеству папы Григория XIII, который послал иезуита Антония Поссевино для примирения воюющих государей. Поссевино возмечтал, что может воспользоваться сим случаем для присоединения России к римской церкви. К живейшему удовольствию его, намеки его на сей счет были принимаемы Иоанном без гнева и даже с некоторым доброхотством. Но грозный царь перехитрил самого лукавого иезуита. Пока имел нужду в Поссевино, то Иоанн оказывал податливость к его учению; но когда, отчасти стараниями его, мир подписан был между Россией и Польшей, то царь с презрением отвергнул дальнейшие домогательства его о вере. Оскорбленные иезуиты выжидали с нетерпением удобного времени для возобновления стараний своих с лучшим успехом. Когда же они известились о замыслах мнимого Димитрия, то, со свойственной им сметливостью, исчислив все выгоды, которые из оных извлечь могли, вознамерились всеми силами помогать ему. Самое самозванство его было для них полезным обстоятельством. Имея дело с природным русским царевичем, не так бы легко было им уговорить его пожертвовать правоверием в уважении обещанных ими пособий; но нельзя было ожидать такой совестливости от тщеславного бродяги, уже покушавшегося на злое дело.

Все сведения, получаемые иезуитами из России, согласовались в том, что государство находится в большом волнении от претерпенных бедствий и что множество людей из ненависти к царю Борису ожидали только удобного случая к восстанию против него. Имея в виду не упускать столь благоприятных обстоятельств, иезуиты положили приступить к делу без дальнейшего отлагательства. Вероятно, по наущению их Отрепьев вошел в услужение к князю Адаму Вишневецкому, вельможе знатному, но слабоумному и легковерному. В бытность его у князя в доме, в Брагине, он притворился опасно больным и, призвав духовника,

сказал ему: «По смерти моей погреби меня честно, яко же царских детей погребают; а сея тебе тайны не скажу, а есть тому всему у меня письмо вскрыте под моею постелею, и как отыду к Богу, и ты сие письмо возьми и прочти его себе втайне, никому же о том не возвести. Бог уже мне так судил»[51]. Священник немедленно передал слова сии князю, который сам пришел к слуге своему и, несмотря на притворное сопротивление его, вынул из-под постели положенную Отрепьевым бумагу, в коей он, называя себя царевичем Димитрием, рассказывал нелепо сплетенную им басню о спасении своем в Угличе, где старанием жившего при нем иностранного медика по имени Симеон убит вместо него ровесник его, мальчик – поповский сын, как будто целый город Углич, где все хорошо знали царевича, мог быть приведен в заблуждение в отношении к телу, четыре дня лежавшему в церкви, куда допускали всякого звания людей![52] Далее Отрепьев утверждал, что медик, скрыв его, отдал на воспитание боярскому сыну, которого не называл и который присоветовал ему искать убежища между иноками, а что потом его выпроводили в Польшу некоторые верные бояре и дьяки Щелкаловы. Вишневецкий слепо поверил нескладной брехне. Тогда Отрепьев, как будто убежденный в невозможности долее скрывать свое происхождение, показал князю носимый им на груди золотой крест, драгоценными каменьями украшенный, который, как уверял, был дан ему отцом его крестным, князем Иваном Федоровичем Мстиславским[53]. Крест сей, вероятно, где-либо украденный или полученный от иезуитов, довершил ослепление Вишневецкого, который стал честить прежнего слугу своего как истинного царевича.

Князь Адам познакомил его с братом своим родным, князем Константином, который зазвал его в имение свое Жалосце. Туда же явился первый лжесвидетель подлинности царевича: то был слуга сына боярского Михнова и назывался Петрушей. В 1601 году Михнов, отъезжая в Вильну при посольстве боярина Салтыкова, взял его с собой; но он, обокрав его, бежал и нашел убежище в доме канцлера литовского, Льва Сапеги, где исправлял самые низкие должности, называя себя Юрием Петровским[54]. Сей негодяй уверял, что, служа прежде в Угличе (где в самом деле никогда не бывал), знает хорошо царевича, и просил, чтобы ему показали его. Когда же исполнили желание его, то он, указав на одинаковые приметы, которые Отрепьев имел с царевичем, объявил, что видит в нем истинного Димитрия.

Такого же рода смеходостойное представление готовилось еще в другом месте. Князь Константин повез Отрепьева в Самбор, к тестю своему Юрию Мнишеку, воеводе Сандомирскому, между холопами коего находился слуга, взятый русскими под Псковом и живший несколько лет в плену в Москве. Сей человек уверял, что видал тогда царевича в младенчестве и что он точно походил на того, который теперь назывался его именем. Как будто можно было распознать черты двух- или трехлетнего ребенка на лице юноши двадцати одного года?

Несмотря на нелепость сих свидетельств, данных, впрочем, лицами, ни малейшего доверия не заслуживающими, князь Константин Вишневецкий и Юрий Мнишек не устыдились выдавать их за несомненные доказательства подлинности мнимого Димитрия. В особенности старец Мнишек горячо заступался за самозванца, будучи привлечен к нему ожиданием важных выгод и почестей для собственного семейства своего. У него была дочь Марина, юная, прелестная девица. Отрепьев или действительно влюбился в нее, или почел нужным казаться страстным, дабы привязать к судьбе своей одну из знатнейших польских фамилий. Мнишек с живейшим удовольствием мечтал о возможности видеть дочь свою на московском престоле, а Марина, не менее отца своего преданная гордости и честолюбию, старалась также выказывать наклонность к мнимому Димитрию.

Между тем иезуиты ревностно действовали в пользу Отрепьева в Кракове, при дворе послушника своего, короля Сигизмунда. Первым старанием их было доставить самозванцу покровительство папского нунция Рангони, который сначала хоть и показывал вид, что не желает мешаться в такое темное дело, но, наконец, будто убежденный сильными доводами,

решился принять участие в несчастном жребии царственного изгнанника[55]. Тогда иезуиты стали заодно с папским нунцием внушать королю, сколько славно, выгодно и даже душеспасительно будет для него видеть на московском престоле государя, который, обязанный ему своим величием, доставит Польше прочный союз с Россией и который, оказывая готовность к принятию римской веры, подает великую надежду к обращению в папежство многочисленных подданных своих. Сигизмунд, со свойственным узкоумию упрямством, не переставал преклонять ухо к советам иезуитов, хотя таковые уже стоили ему наследственного его государства, Швеции, которая, встревоженная им по предмету исповедываемой ею лютеранской веры, отложилась от него и признала королем своим дядю его родного Карла IX. Король польский позволил уверить себя, что воцарение мнимого Димитрия подаст ему способ общими силами Польши и России снова возложить на главу свою утраченный венец Вазы. Под влиянием сих лестных мечтаний Сигизмунд приказал Мнишеку и Вишневецкому представить пред себя самозванца.

В начале 1604 года Отрепьев прибыл в Краков, где нунций, посетив его, объявил ему, что, если желает королевской помощи в отыскании справедливых прав своих, то предварительно должен отречься от греческой веры, принять римскую и вручить себя покровительству папского престола. Самозванец с умилением обещал все сие исполнить, что через несколько дней в доме у нунция не только подтвердил на словах в присутствии многих знатных особ, но даже дал в том письменное обязательство. После сего Рангони угощал его пышным обедом, по окончании коего отвез к королю на аудиенцию. Сигизмунд принял Лжедимитрия, стоя опершись на столик, и с обыкновенной своей величавостью подал ему руку. Отрепьев, поцеловав оную, рассказал ему вымышленную историю свою и просил у него защиты и помощи. Тогда коронный обер-камергер дал знак ему и всем присутствующим на аудиенции выйти в другую комнату. Только нунций остался наедине с королем, который советовался с ним, как отвечать. Потом снова призвали самозванца. Сей вошел со смиренным видом и, положив руку на сердце, более вздохами, чем словами старался снискать королевскую милость. Сигизмунд с веселым видом, приподняв шляпу, сказал ему: «Да спасет вас Бог, Димитрий, князь Московский! Мы признаем вас в сем высоком звании, убеждаясь всем слышанным нами и представленными нам письменными доводами, и в знак нашего доброжелательства назначаем вам на ваши потребы ежегодно сорок тысяч злотых (то же нынешних серебряных рублей); кроме того, как приятелю, принятому под наше покровительство, позволяем вам сноситься с панами нашими и получать от них все вспоможение и заступление, какое только можете желать». Смущенный радостью, Отрепьев не нашел слов, чтобы выразить свою признательность. Нунций за него благодарил короля и отвез его обратно в дом к сандомирскому воеводе, где, обнимая его, советовал ему приняться за дело как можно скорее и в особенности напоминал ему, что из благодарности за оказанные ему милости он должен спешить принять римскую веру и водворить как оную, так и иезуитов не только в государстве своем, но даже сколь возможно будет в дальнейших странах Востока.

Таким образом, совершилось публичное признание самозванца за истинного царевича при дворе польском; событие важное для наглого бродяги, ибо подавало ему неожиданные средства к достижению своих дотоле несбыточных предначертаний. В пылу своей признательности к иезуитам он решился без дальнейшего отлагательства принять их веру[56]; но условились не оглашать сего до удобнейшего случая, дабы преждевременно не вооружить против него русского народа, свято привязанного к старинному исповеданию своему. Отрепьев, закрывая лицо и переодевшись в нищенское платье, пришел в сопровождении одного польского вельможи в дом краковских иезуитов. Там он отрекся от Восточной церкви, исповедовался иезуиту и принял причастие из рук папского нунция, который также совершил над ним миропомазание. Потом самозванец, не преставая следовать советам нунция, собствен-

норучным письмом просил покровительства папы Климента VIII, который не замедлил ему отвечать весьма милостиво[57].

Король Сигизмунд, хотя на публичной аудиенции и не обещал расстриге сам помогать ему силой оружия, но, подстрекаемый иезуитами, он питал тайное желание принять деятельное участие в замышляемом Отрепьевым походе против Бориса. К исполнению сего представлялись большие препятствия. Государь польский, не будучи самодержавным, не мог без одобрения народного сейма открыть войну с соседом, не подавшим к тому важного повода. С другой стороны, Сигизмунд опасался, что сейм не согласится на разорвание недавно заключенного двадцатилетнего перемирия с Россией и не захочет восстановить против Польши нового сильного врага, когда поляки не могли еще управиться со шведами, силившимися отнять у них Лифляндию. В сих обстоятельствах король вознамерился попытаться убедить главнейших вельмож своих в том, что важные государственные причины не дозволяют предложить на разрешение сейма, воевать или нет с Россией, и что несомненные выгоды республики польской требуют выступить немедленно в поход против царя Бориса.

Знаменитейшим вельможей в Польше был тогда старец Замойский, канцлер и великий гетман коронный. Король написал ему, что, если республика доставит царский венец Димитрию, то найдет в нем надежного союзника на случай войны с турками; что, с другой стороны, представится возможность не только очистить Лифляндию, но даже восстановить власть королевскую в Швеции, потому что те же войска, которые будут употреблены для препровождения Димитрия до Москвы, могут быть оттуда устремлены на Лифляндию и Финляндию; что, кроме того, откроется для Польши обширный торг не только с Россией, но через нее и с Грузией, и Персией, и что во всяком случае нельзя было доставить лучшей рыцарской забавы пылкой беспокойной молодежи польской[58]. Впрочем, Сигизмунд изъявлял желание, чтобы совещания о великом деле сем производились втайне, между Замойским и архиепископом Гнезнинским Тарновским, без доклада сейму, потому что слишком часто на сих народных съездах выгоднейшие для Речи Посполитой предложения бывали отвергнуты единственно по недоброжелательству частных лиц, и что, так как прения на сейме не могут быть производимы без огласки, то царь Борис будет предупрежден о замышляемом против него деле и, таким образом, получит возможность сильно приготовиться к борьбе призванием на помощь к себе татар и других варварских народов. Сигизмунд худо знал Замойского, если надеялся оказываемой ему доверенностью выманить у него одобрение своих замыслов. Старый поборник шляхетских вольностей не изменил своим правилам. Он отвечал королю, что не советует ему вступать в ненадежный бой и что во всяком случае нельзя ничего предпринимать без соизволения сейма тем паче, что если действительно дойдет до войны с Россией, то усилия ограниченные и скороспешные окажутся недостаточными, а должно будет прибегнуть к мерам, соответствующим важности цели, и выставить в поле огромное войско.

Другие вельможи польские, и между прочими напольный коронный гетман Жолкевский и князь Василий Константинович Острожский, были одного мнения с Замойским. Все они представляли королю, что, имея уже дело со шведами, неосмотрительно было бы вдаваться без всякой нужды в новую войну.

Иезуиты, видя неудачу с сей стороны, стали тогда внушать Сигизмунду, что если вельможи не хотят открыто воевать против Бориса, то можно будет из-под руки вредить ему и что король имел на сие все право, потому что сам Борис действовал не иначе. В доказательство тому представляли, что, несмотря на существующее перемирие, царь пропустил через Ингрию шведские войска, посланные Карлом из Финляндии в Лифляндию, и что, кроме того, русские градоначальники во Пскове и других местах имели приказание снабжать шведов нужными для них жизненными припасами[59]. Нетрудно было склонить Сигизмунда на отплату царю той же монетой. Король решился, не оглашая действия правительства, вос-

пользоваться оказываемой охотой к войне некоторых панов литовских и многих жолнеров, остававшихся на Украйне без службы, для составления рати из вольницы, которую сначала намеревался подчинить князю Збаражскому, воеводе Брацлавскому. Но, так как князь сей не скрывал убеждения своего в том, что мнимый Димитрий был самозванец, то король поручил все дело Мнишеку, позволив ему употребить на оное доходы Сандомирского воеводства. Тогда Мнишек отвез обратно расстригу в Самбор, где, как и в окрестностях Львова, начинался уже набор войска для похода в Россию[60].

По возвращении своем в Самбор Отрепьев стал открыто домогаться руки Марины. Предложения его были приняты с восторгом; однако гордый вельможа не намерен был жертвовать дочерью своей наудачу. Свадьба была отложена до утверждения Лжедимитрия на московском престоле, но между тем воевода Сандомирский взял с него запись, 13/23 мая собственной рукой его подписанную, по силе коей самозванец с щедростью, свойственной человеку, располагающему чужим добром, обещался тотчас после своего воцарения жениться на Марине и заплатить отцу ее Мнишеку миллион злотых (то же нынешних серебряных рублей), кроме того, он обязывался отдать в удел будущей супруге своей государства Новгородское и Псковское, со свободой вводить в оные исповедуемую ею римскую веру, которую и сам признавал за свою с уверением, что ничего не упустит для водворения оной и во всей России.

Но Мнишек не довольствовался устроением участи своей дочери. Встречая неожиданную податливость в нареченном зяте своем, он несколько дней спустя выманил у него уже собственно в пользу свою и в пользу государства польского новые уступки, весьма разорительные для России. Второй записью, писанной также в Самборе, 2/12 июня, самозванец отдавал будущему тестю своему княжество Северское и половину Смоленского с городом, а другую половину Смоленского княжества (вероятно, лежащую по правой стороне Днепра) и шесть городов из Северского уступал Польше. Кроме того, самозванец обещался еще по вступлении своем на престол придать Мнишеку столько городов и земель из прилегающих к Смоленскому княжеству областей, сколько нужно будет для вознаграждения за убавление в доходах княжеств Северского и Смоленского, происшедших от делаемых Польше уступок. Исполнение сих сумасбродных обязательств вовлекло бы Россию в такие пожертвования, к которым самая несчастная война едва ли могла бы ее вынудить[61].

Мнишек, разлакомившись выговоренной им богатой наградой, хотя и не щадил имения своего, однако собирающаяся под знаменами его шляхта не составляла значительного войска, чтобы с одной сей помощью самозванец мог поколебать престол Бориса. Главнейшие надежды его в сем предприятии основывались на сподвижниках, коих он ожидал найти в недрах самой России. Но и в сем случае поляки много благоприятствовали ему. Пограничные польские начальники всемерно старались рассевать по Северской земле подметные письма расстриги, в коих он, объявляя себя царевичем Димитрием, призывал народ к восстанию против Бориса[62]. В особенности таким образом ревностно действовал в его пользу Михайло Ратомский, староста Остерский, который не только мутил жителей Чернигова и окрестностей, но еще послал шляхтича Щастного-Свирского к донским казакам, коих наклонность к самозванцу была уже известна.

Донские казаки не составляли еще сего стройного и воинственного общества, в наши времена столь усердно и храбро подвизавшегося за Россию. Тогда они только были сволочью людей бесприютных, ненавидящих всякую подчиненность и одним удальством подобившихся знаменитым потомкам своим. Промышляя единственно разбоем, они много вредили российской торговле с Грузией и Персией и даже самовольными нападениями своими на турецкие владения весьма затрудняли мирные сношения, которые российское правительство желало сохранить с Портой. Царь Борис, разгневанный их неистовствами, принялся

укрощать их и тем ожесточил их против себя. Они явно отказались от всякого повиновения и с радостью встретили пронесшуюся между ними молву, что царевич Димитрий находится в живых. Дерзость их возросла до такой степени, что еще в январе 1604 года они осмелились напасть на окольничего Степана Степановича Годунова, троюродного брата царя, посланного с поручением в Астрахань. Казаки разбили провожавший его конвой; Годунов сам едва успел спастись бегством. Многие из его людей были убиты, а другие взяты в плен, из коих некоторых казаки послали к царю с вестью, что они скоро придут в Москву с царевичем Димитрием.

В сих обстоятельствах весьма естественно, что шляхтич Свирский получил добрый прием от казаков. Они приговорили отправить тотчас в Польшу к Лжедимитрию атаманов своих Андрея Корелу и Михайлу Нежакожа[63]. Сии посланные застали еще самозванца в Кракове и, увидев, что при самом королевском дворе он принимается за истинного царевича, не усомнились признать его за своего законного государя. Возвратившись же на Дон, они убедили товарищей своих готовиться к походу за Димитрия.

Уже некоторые из русских беглецов, в Польше находящихся, пристали к самозванцу и образовали первую его дружину русскую, которая была ему весьма нужна, дабы отвратить от себя нарекание, что он с одними иноплеменными силами намеревается вступить в Россию. Но дружина сия была не многочисленна, и старания расстриги, чтобы умножить ряды оной, не всегда были успешны. Многие из русских выходцев, гнушаясь обманом, не хотели принять участия в злом деле. Между сими отличился в особенности сын боярский Яков Пыхачев и старый расстригин товарищ монах Варлаам Яцкий, которые прибыли в Краков для изобличения самозванца перед польскими вельможами[64]. Но напрасно Варлаам уверял, что мнимый Димитрий есть монах Григорий Отрепьев, с коим вместе он сам бежал из Москвы в Киев. Король не хотел слушать истины, противной его желаниям, и приказал отправить обоих обвинителей к самозванцу в Самбор. Там Варлаама заключили в темницу как непочтительного клеветника, а Пыхачева казнили под предлогом, что он подослан Борисом для умерщвления царевича.

Избавив себя, таким образом, от опасного свидетельства, расстрига не менее того весьма тревожился мыслью, что настоящее имя его сделалось известным. Для отвращения худых для него следствий, могущих произойти от сего открытия, он прибегнул к новому обману. При нем находился вышедший из Крыпецкого монастыря безродный монах Леонид, человек пьяный, но весьма преданный самозванцу, который велел ему называться Григорием Отрепьевым[65]. Таким образом он надеялся отвратить от себя подозрение, что сам он был сим Отрепьевым.

Невозможно, чтобы царь Борис скоро не известился о дерзких происках самозванца, как в России, так и в Польше. В первом смущении своем он начал сам несколько сомневаться в убиении истинного Димитрия. Мать Димитриеву, царицу Марфу, привезли в Новодевичий монастырь под Москвой; царь ездил к ней с патриархом, допрашивал ее, делал повсюду точнейшие розыски и убедился, что несчастная жертва его властолюбия действительно пала за тридцать[66] лет перед тем под нанесенными ей в Угличе ударами[67]. Между тем посланные в Польшу лазутчики донесли, что отважный обманщик, дерзнувший принять на себя имя царевича, был никто иной, как чудовский дьякон Григорий Отрепьев, который избежал ссылки в Соловецкий монастырь единственно по небрежению дьяка Смирного, не исполнившего царского о нем указа. Борис не хотел, однако, наказать дьяка за сие ослушание, дабы не придать важности случаю, который старался еще представлять ничтожным. Но злоба царская против ветреного чиновника не угасала. С лицемерием, противным достоинству государя, не смея карать его за настоящее преступление, он стал подыскиваться под него[68]. Смирного, обвиненного в расхищении дворцовой казны, засекли до смерти.

Положение Бориса было затруднительно. Если благоразумие предписывало готовиться к отвращению угрожающей опасности, то, с другой стороны, также полезным казалось не выказывать никакого беспокойства, дабы не возвысить в глазах встревоженного народа соперника, коего дотоле можно было еще полагать достойным одного презрения. В сем недоумении царь решился ограничиться мерами двуличными. Хотя зараза в Смоленском уезде слабела, но учрежденные между Москвой и Смоленском заставы были протянуты до Брянска, дабы затруднить сообщение с Литвой. Кроме того, царь приказал окольничим Петру Шереметеву и Михайле Салтыкову собрать войско под Ливнами, под предлогом полученных известий из Крыма о замышляемом нападении татар на русские пределы[69]. Выбор Ливен для сборного места войска был действительно удачен, ибо оттуда легко было обратить оное или на Дон против казаков, или к Днепру против Польши.

Но царь еще надеялся, не обнажая меча, одной силой истины победить расстригу, разуверив его приверженцев. Для сего он отправил к донским казакам дворянина Хрущева, а боярам своим приказал послать к польским вельможам расстригина дядю родного, Смирного-Отрепьева, для изобличения племянника в присутствии их[70]. Посылки сии не имели и не могли иметь успеха, потому что ополчающиеся на Россию злодеи искали не истины, а одной собственной выгоды. Польские вельможи не хотели показать Смирному-Отрепьеву самозванца, отзываясь, что им до него не было никакого дела и что они ему ни в чем помогать не намерены. Хрущева поручение кончилось еще хуже. Казаки схватили его и окованного отправили к самозванцу. Устрашенный Хрущев изменил своему долгу. Представленный Лжедимитрию, он повергся к стопам его, уверяя, что по сходству его с царем Иоанном Васильевичем узнает в нем истинного государя своего. Расстрига с любопытством расспрашивал его о расположении умов в России и о намерениях царя Бориса. Хрущев в ответах своих старался единственно угодить самозванцу и говорил много долженствующих ему нравиться небылиц.

Король Сигизмунд, сам не смея воевать против царя Бориса, однако, возбуждал против него новых врагов. Посылая в Крым гонца Черкашенина, он писал с ним к хану Казы-Гирею, что царевич Димитрий готовится вступить в Россию для поддержания законных прав своих и что полякам приятно будет, если татары станут помогать ему в сем предприятии.

Между тем жители окрестностей Львова и Самбора терпели большие притеснения и обиды от развратной шляхты, собравшейся под хоругвью Лжедимитрия[71]. Все желали как можно скорее избавиться от нее. Но набор производился медленно, хотя Мнишек и не щадил денег. Самозванец, в нетерпении своем, решился не дожидаться, чтобы все ополчение было готово, и пятнадцатого августа 1604 года выехал из Самбора в сопровождении двух иезуитов, Николая Черниковского и Андрея Лавицкого[72]. Расстрига тридцатого числа того же месяца прибыл в Глиняны, где назначен был смотр войску. Оное состояло только из пятисот человек пехоты и тысячи ста всадников[73], разделенных на пять хоругвей, а именно: царскую, пана Мнишека, старосты Саноцкого[74], пана Дворжицкого, пана Фредро и пана Неборского[75]. Хотя король и поручил все дело старому Мнишеку, но необузданная вольность гордой шляхты требовала ее согласия на избрание начальника. На собранной в Глинянах коле (сходке) воевода Сандомирский был провозглашен гетманом войска, а под ним назначены два полковника, паны Жулицкий и Дворжицкий[76].

Третьего сентября войско двинулось из Глинян по направлению к Киеву. Много других шляхетских хоругвей, не докончивших еще своего образования, получили приказание, по совершенном изготовлении, следовать тем же путем и спешить соединением с прочими товарищами своими. Приближаясь к Киеву, самозванец и Мнишек были встревожены появлением войска князя Острожского, из нескольких тысяч человек состоящего. Зная, сколь

князь сей желал сохранения мира между Польшей и Россией, они опасались нападения его и почли нужным принять меры чрезвычайной осторожности. Воины их проводили ночи без огня и держали лошадей своих оседланными. Но Острожский не имел намерения вооруженной рукой действовать против людей, коих предприятие, хотя им не одобряемое, было тайно покровительствуемо самим государем его. Он имел только в виду охранение жителей Киевского воеводства от грабительских самозванцевых сподвижников и для того приказал войску своему довольствоваться наблюдением за ними во время следования их до Днепра.

Расстрига, прибывший в Киев седьмого октября, встретил тут неожиданное препятствие. По повелению Острожского все перевозы на Днепре были сняты. Несколько дней прошло в отыскивании паромов, и только тринадцатого числа совершилась переправа в четырнадцати верстах выше Киева, близ устья Десны. Уже самозванец был обрадован прибытием первого подкрепления из России, состоящего из двух тысяч казаков, приведенных с Дона Свирским[77]. Таким образом, в войске, с коим он готовился переступить за границу, считалось до четырех тысяч человек.

Переправясь за Днепр, расстрига начал действовать решительно. Шестнадцатого октября он перешел за русский рубеж и стал лагерем за Сваромьем, а семнадцатого за Жукиным[78]. Вступление его в пределы России несказанно возмутило строптивый народ Северской земли. Везде чернь, ненавидевшая Бориса, радостно принимала самозванца с хлебом и солью. Первым русским укрепленным местом был в сей стороне замок Муромск. Еще Отрепьев стоял в тридцати верстах от оного, как уже тамошние жители прислали ему сказать, что покоряются его власти. Расстрига спешил воспользоваться их добрым расположением и девятнадцатого числа, выступив из-под Жукина, остановился при Полчове, десять верст не доходя до замка. Тут муромляне представили ему связанных воевод своих, Бориса Лодыгина и Елизария Безобразова. Самозванец почел нужным ознаменовать милосердием первые царские действия свои. Не вменяя в вину воеводам верность их к Борису, он единственно жалел об их заблуждении и приказал освободить их[79]. Двадцать первого числа Отрепьев вступил в Муромск.

Весть о вторжении врага в Россию изумила Бориса. Хитрить было уже не время. Предстояла необходимость противопоставить силу силе. Царь приказал собрать войско в Брянске, но, и тут еще или действительно не постигая важности обстоятельств, или притворяясь не верующим оной, он не хотел прибегнуть к усилиям чрезвычайным. В тогдашнее время в России ополчения были двух родов: большие, состоящие из пяти или иногда и шести полков, и второстепенные, разделявшиеся на три полка. Собиравшееся в Брянске войско было трехполковое и состояло под главным начальством боярина князя Димитрия Ивановича Шуйского, который имел при себе в Большом полку князя Михайлу Феодоровича Кашина, в Передовом были Иван Иванович Годунов и князь Михайло Самсонович Туренин, а в Сторожевом боярин Михайло Глебович Салтыков и князь Феодор Звенигородский. Кроме того, посланы знатные чиновники в пограничные города; в Путивль: Михайло Михайлович Салтыков, да с ним осадный воевода князь Василий Михайлович Мосальский-Рубец; в Чернигов: боярин князь Никита Романович Трубецкой, окольничий Петр Феодорович Басманов и голова Андрей Воейков; но сии три чиновника уже не могли достигнуть своего назначения.

Самозванец не терял времени. Оставив в Муромске малый отряд для охранения замка, он двадцать второго октября двинулся вдоль правого берега Десны и двадцать пятого стоял уже лагерем в семи верстах от Чернигова, а двухтысячный казацкий отряд, составлявший его передовую дружину, подступил под самый город, достаточно снабженный пушками и имевший крепкий замок. Жители сначала хотели защищаться и убили многих казаков, пытавшихся войти силой[80]. Но когда узнали, что Муромск сдался добровольно, то и они положили не противиться царевичу. Напрасно начальствующий в городе князь Иван Андреевич

Татев надеялся еще удержаться в замке с бывшими при нем тремя сотнями стрельцами и двадцатью орудиями. Чернь, пригласив на помощь казаков, соединенными силами хлынула к замку. Тогда стрельцы, увлеченные общим примером, отворили ворота и выдали воеводу своего. Татев оказался столь же малодушным, сколь и Хрущев; он вошел в службу к самозванцу и сделался вернейшим из его клевретов. Впрочем, черниговцы получили достойное наказание за свою шаткость. Впущенные ими казаки грабили город, как будто взяли оный приступом. Извещенный о том расстрига немедленно послал к казакам двух польских панов для прекращения беспорядков, могущих охладить наклонность к нему обывателей других городов. Но паны сии уже нашли все разграбленным. Самозванец, сам прибывший на другой день в Чернигов, приказал возвратить похищенное, однако казаки успели скрыть часть своей добычи, и хозяева не все утраченное получили обратное.

Расстрига остановился в Чернигове, чтобы дать отдохновение своему войску, в коем оказывался некоторый ропот. В особенности шляхта жаловалась, что за неимением денег обносилась и нуждается в продовольствии. К счастью самозванца, в замке нашлось в сборе три тысячи рублей (десять тысяч нынешних серебряных). Он раздал их полякам.

После восьмидневного отдыха Отрепьев выступил опять в поход по направлению к Новгород-Северскому. Передовые казаки под начальством поляка Бучинского явились под сим городом девятого ноября. Но тут встретили мятежники первое важное сопротивление. Князь Трубецкой, Басманов и Воейков, отправленные царем в Чернигов, не могли опередить там самозванца и решились защищать Новгород-Северский. Хотя боярин Трубецкой был гораздо чиновнее окольничего Басманова, но последний заправлял всем. В смутное время часто истинное достоинство берет верх, и обыкновенные люди охотно уступают искуснейшим власть и ответственность. Басманов отличался столько же честолюбием, сколько и храбростью, твердостью и знанием ратного дела. Он, предупреждая измену обывателей, ввел их всех в замок, сам заперся в оном с бывшими при нем шестью сотнями стрельцов, а город велел выжечь.

Казаки, принятые пальбой из замка, остановились, а Бучинский с малой свитой подъехал к стене для начала переговоров, к коим русские, кидая шапки свои вверх, казалось, приглашали его. Басманов сам находился на стене и спросил его, чего он требует. Поляк объяснился таким образом: «Я прислан моим всемилостивейшим государем, сыном блаженной памяти великого князя Иоанна Васильевича, Димитрием Иоанновичем. Небесный промысел сохранил его от смерти, приготовленной в Угличе изменником Борисом: он здравствует и чрез меня, слугу своего, объявляет, что если вы, подобно жителям Чернигова и Муромска, покоритесь ему и ударите челом, как законному государю, то будете помилованы; если же не согласитесь на сие, то знайте, что всех вас предаст он смерти, и мужей и жен, и старых и малых; самым младенцам в матерней утробе не будет пощады». Басманов отвечал: «Государь наш и великий князь Борис теперь в Москве: он повелитель всей России! Тот же, о ком говоришь ты, есть изменник и негодяй; скоро он будет на коле со всеми его клевретами! Спеши удалиться туда, откуда пришел ты, если хочешь остаться в живых». Сия речь мало понравилась Бучинскому, который, расположив отряд свой на горе, куда русские пули не достигали, спешил сам известить самозванца, что тут одной лестью успеть нельзя.

Расстрига сам подступил под замок одиннадцатого числа и, расположившись на пепелище города, послал нескольких польских панов и муромских русских уговаривать к сдаче осажденных, но Басманов не хотел вступать в дальнейшие переговоры и приказал стрелять по посланным.

Видя его упорство, самозванец приступил к формальной осаде, хотя не имел при себе достаточного снаряда для этого предприятия. Стали копать траншеи и плести туры, за коими выставили восемь небольших полевых пушек и шесть фальконетов. Поляки, под покровительством почти ничтожной пальбы из сих батарей, вздумали четырнадцатого числа идти на

приступ. Гусары их[81] подступили к замку, и охотники из них, слезши с лошадей, двукратно бросались к стене. Осажденные отстреливались так удачно, что неприятель оба раза был отражен с уроном. Не смея более действовать открыто, поляки сделали деревянные срубы, которые, поставив на сани, в ночи с семнадцатого на восемнадцатое двинули к замку, а сами тихо шли позади, заслоняясь оными. За гусарами следовали еще триста человек с соломой и хворостом, чем должны они были завалить ров замка и потом поджечь сии припасы в надежде пожаром одолеть осажденных. Таким образом поляки безвредно подошли ко рву, но тут встретили столь мужественное сопротивление со стороны верных воинов, Басмановым одушевленных, что предприятие их не имело успеха. Тщетно в ярости своей продолжали они штурм всю ночь. Решительно отбитые, они вынуждены были наконец отступить с немалой потерей.

Неудача сия повергла Лжедимитрия в чрезмерную горесть. Сопротивление ничтожной крепости, каковой был Новгород-Северский, казалось ему разрушением всех мечтаний его. В порыве досады своей он укорял поляков и говорил, что не находил в них ожидаемого им удальства. Обидевшиеся поляки отвечали, что штурмовать город, не сделавши прежде пролома в стене, было делом сумасбродным. Обоюдные неудовольствия возросли до такой степени, что шляхта хотела уже возвратиться в Польшу. К счастью расстриги, чрезвычайно благоприятные для него известия, полученные им в то самое время, когда он сам начал предаваться отчаянию, ободрили всех приверженцев его и побудили их не оставлять начатого предприятия.

Пламень бунта быстро распространялся по всей полуденной России. Самозванцевы лазутчики, коим способствовала очевидная наклонность к нему простого народа, проникали повсюду и рассевали манифесты его, в коих он, оглашая себя царевичем Димитрием, чудесным промыслом Всевышнего спасенным от удара, изготовляемого ему Годуновым, напоминал присягу, данную отцу его, царю Иоанну, и увещевал всех отстать от злодея Бориса и покориться его законной власти[82]. Чернь с умилением слушала сии манифесты и с радостью отказывалась от послушания ненавистному ей Борису. Одни чиновные люди сохраняли еще некоторую пристойность. Правда, многие из них, выданные самозванцу, служили уже ему, но вину их можно еще было приписать страху и принуждению. Первым добровольным изменником оказался один из потомков Рюриковых, князь Василий Михайлович Мосальский-Рубец[83]. Начальствуя во-вторых[84] в Путивле, он, вместо того, чтобы обуздывать жителей и воинов, сам возмутил их, связал главного начальника Михайлу Михайловича Салтыкова и присягнул расстриге со всеми людьми своими, кроме двухсот московских стрельцов, пребывших верными, которых обезоружили, а голову и сотников их послали к самозванцу[85]. Путивль, многолюдный и обнесенный каменной оградой (что означало важность места, потому что тогдашние укрепления городов российских были почти везде деревянные), считался главным городом в Северской земле. Молва о покорении оного самозванцу разнеслась с неимоверной скоростью и подала повод к новым изменам. Пагубному примеру последовали Рыльск, Севск, Комарицкая волость, Борисгород, Белгород, Оскол, Валуйки, Курск, Кромы, Ливны, Елец и Воронеж, так что в южной полосе России на протяжении шестисот верст от запада к востоку все признавали расстригу за законного своего государя.

Обрадованный сим неожиданным успехом, самозванец приложил новые старания к овладению Новгородом-Северским. По повелению его привезли из Путивля пять орудий осадных и восемь полевых, кои первого декабря открыли огонь по замку[86]. Почти целую неделю стрельба сия продолжалась беспрерывно денно и нощно. Деревянные стены замка часто были пробиваемы, но Басманов не унывал, хотя в один день выбежало от него восемьдесят человек и хотя собранное под Брянском царское войско ничего не предпринимало для его избавления. Начальник сего войска, князь Димитрий Шуйский, в извинение своего без-

действия писал в Москву, что ненадежно сразиться с Лжедимитрием без важного над ним превосходства сил и что потому он в необходимости просить подкрепления[87].

Отложение обширных областей, робость высланного против врагов войска и более всего непонятное ослепление народа, везде и даже в самой Москве оказывающего несомненную наклонность к самозванцу, наконец убедили Бориса в действительности угрожающей ему беды. Видя неуместность дальнейшего выказывания притворной самонадеянности, он решился употребить на уничтожение злодея все еще весьма сильные средства, коими мог располагать самодержец российский. Князь Федор Иванович Мстиславский получил приказание собрать новое войско в Калуге, и вместе с тем обнародовано общее земское ополчение, от коего не избавлялись даже имения духовенства, как и прочие, по мере имевшейся во владении земли[88]. Сими ратными приготовлениями не ограничилось правительство. Царь и патриарх во всех храмах и на всех торгах приказывали провозглашать церковное проклятие над Отрепьевым, как над злым еретиком, тщившимся похитить царство Московское, истребить православную христианскую веру и ввести проклятую папежскую. В Москве князь Василий Иванович Шуйский на лобном месте торжественно уверял народ, что, будучи главным лицом следственного наряда о убиении Димитрия, он сам хоронил его тело и потому лучше всех может свидетельствовать, что действительно в Угличе убит был никто иной, как сам царевич. Но речи сии и подобные же речи патриарха и других бояр делали мало впечатления над предубежденными слушателями, которые промеж себя толковали, что так говорили им по наущению Бориса, которому ничего иного и не оставалось, как скрывать истину.

Царь среди всех окружающих его опасностей сохранял еще пристойную величавость в отношении иностранных держав. Карл IX, король шведский, естественный враг Польши, вызвался прислать ему вспомогательное войско, но Борис отвечал, что Россия при царе Иоанне, в одно время воевавшая с турками, татарами, поляками и шведами, сама управится со своим злодеем. Впрочем, царь, сам не желая помощи от иностранцев, также искал отнять оную и у самозванца. В сем намерении он послал к королю Сигизмунду дворянина Огарева с грамотой, в коей, описывая все происхождение Отрепьева, доказывал его самозванство, прибавляя, что если бы даже и действительно он был Димитрием, то и тут не имел бы никакого права на престол, ибо царевич, рожденный от седьмого брака, церковью не признаваемого, не мог почитаться законным наследником[89]. Огарев имел поручение жаловаться на помощь, даваемую поляками расстриге, на побуждение татар против России, на возмущение казаков литвином Свирским и на занятие князем Вишневецким, вопреки перемирию, городища Прилуки, которое Россия считала своей собственностью. В заключение он должен был требовать решительного ответа: чего желает Польша, войны или мира с Россией? Встревоженный сей настойчивостью, Сигизмунд прибегнул к лицемерным уверениям, что хочет свято соблюдать перемирие и что если некоторые поляки, во зло употребляя дарованные им законами вольности, в чем-либо нарушили постановления сего перемирия, то будут строго наказаны.

Духовенство российское, со своей стороны, всячески старалось предостеречь от обмана духовенство польское. Патриарх, митрополит и все архиепископы и епископы послали к оному гонца Бунакова с грамотой, где все они священным словом своим изобличали Отрепьева в самозванстве[90]. Кроме того, патриарх послал от себя в Киев гонца Пальчикова с письмом к князю Острожскому, коего он увещевал приказать поймать расстригу и прислать его в Москву. Но совершившиеся события упредили ответы на оба сии послания. Участь государства уже зависела от успеха войны.

Князь Мстиславский, собрав наскоро несколько войска в Калуге, повел оное в Брянск на соединение с войском князя Димитрия Шуйского; совокупные силы сии составили сорокатысячное ополчение, разделенное на пять полков. Мстиславский принял главное началь-

ство, имея при себе во-вторых в большом полку князя Андрея Андреевича Телятевского; в других полках начальствовали: в правой руке князь Димитрий Иванович Шуйский и князь Михайло Феодорович Кашин; в левой руке Василий Петрович Морозов и князь Лука Осипович Щербатов; в передовом князь Василий Васильевич Голицын и Михайло Глебович Салтыков; наконец, в сторожевом Иван Иванович Годунов и князь Михайло Самсонович Туренин. Мстиславский выступил немедленно на выручку Новгорода-Северского и на пути, достигнув Трубчевска, писал воеводе Сандомирскому, требуя, чтобы он немедленно оставил самозванца и вышел с поляками своими из России, не имеющей брани с Польшей[91]. Но Мнишек не отвечал, ибо еще надеялся на счастье нареченного зятя своего.

Восемнадцатого декабря российское войско достигло реки Узруя, в восьми верстах от Новгорода-Северского, и переправилось через сию реку, несмотря на сопротивление самозванцевой передовой стражи, которая вынужденной нашлась отступить до его лагеря.

Хотя Лжедимитрий и был уже подкреплен прибытием из Польши последних там образующихся шляхетских рот и вступлением к нему в службу многих бродяг северских, однако со всем тем нельзя полагать, чтобы он имел при себе более пятнадцати тысяч человек, из коих третья часть поляков, и, следственно, силы его казались весьма недостаточными, чтобы противиться наступающему на него сорокатысячному неприятелю. Но он хорошо постиг, что от одной слепой отваги должен был ожидать удачи в чудном предприятии своем, и потому вознамерился, несмотря на чрезвычайное неравенство сил, вступить в сражение, надеясь, впрочем, что измена подавшихся к нему городов будет иметь влияние и на самих воинов Мстиславского и что они неохотно поднимут оружие против того, которого обширная часть России признавала уже за истинного государя своего.

Вследствие сей решимости двадцатого декабря он вывел войско свое из лагеря на обширную равнину, где стоял Мстиславский. День провели в маловажных стычках и бесполезных переговорах. Только Басманов частыми вылазками тревожил тыл самозванца, который для удержания его вынужден был отрядить несколько сот казаков[92].

Мстиславский двадцать первого числа подступил к неприятельскому лагерю. Лжедимитрий опять смело вышел ему навстречу и, готовясь к бою, почел нужным воспламенить усердие своих сподвижников плодовитой речью, в коей дерзал призывать царя Бориса к суду Божию. Хотя измены, на которую рассчитывал самозванец, и не оказалось, однако недоумение разливалось в рядах царских воинов и приводило их в такое оцепенение, что сражение продолжалось недолго. Правда, москвитяне отразили первое нападение польской конницы, но сия искра храбрости скоро угасла[93]. Правое царское крыло не выдержало нового натиска свежих польских хоругвей и опрокинулось на большой полк; сей также дрогнул, несмотря на благородные усилия главного вождя, князя Мстиславского, который не щадил себя и, отягченный многими ранами, пал с коня; подоспевшая к нему на помощь дружина стрельцов едва успела спасти его от плена. В то же время польская пехота вытиснула других царских стрельцов из занимаемой ими лощины. По свидетельству очевидца «казалось, что у россиян не было рук для сечи», и Лжедимитрий, вероятно, одержал бы победу совершенную, если бы в решительную минуту пустил в дело запасные войска свои, но по неопытности он не сделал сего и, таким образом, дал возможность царским воеводам после двух- или трехчасового боя отступить хотя и не без урона, но, по крайней мере, с сохранением состава войска. Самозванец преследовал их на пространстве девяти верст. Сие постыдное дело стоило русским до четырех тысяч человек убитых; поляков пало только сто двадцать[94].

Впрочем, одержанная самозванцем победа нисколько не была решительной, а полууспеха недостаточно было, чтобы улучшить его положение. Царская армия отошла недалеко и остановилась в четырнадцати верстах от места сражения, в лесу, где прикрылась окопами и засеками. Лжедимитрий не смел, так сказать, под ее глазами продолжать осаду Новго-

рода-Северского, несмотря на ожидаемое им сильное подкрепление. Старые товарищи его, запорожцы, привлеченные надеждой богатой добычи, шли к нему на помощь в числе двенадцати тысяч человек, из коих четыре тысячи пеших прибыли в стан его на другой день сражения. Прочие восемь тысяч конных, с четырнадцатью пушками, также находились уже в близком расстоянии. Но если, таким образом, число расстригина войска значительно увеличивалось, с другой стороны, настоящая сила оного ослабевала, потому что поляки, составлявшие лучшую его дружину, отказывались долее служить ему. Иноземцы сии, из одной корысти принявшие его сторону, роптали на предстоящие им труды и неотступно требовали обещанного им жалованья. Лжедимитриева казна недостаточна была для удовлетворения их. В сих трудных обстоятельствах самозванец решился дать отдохновение войску своему на зимних квартирах, в изобильной съестными припасами Комарицкой волости. В сем намерении второго января 1605 года он оставил Новгород-Северский и, переправившись через Десну, направился на Севск.

Между тем неудовольствие поляков возрастало ежедневно, и уже на втором переходе от Новгорода-Северского они оказывали мало охоты углубляться далее в Россию. Тогда товарищи хоругви пана Фредро, кричавшие более всех прочих, велели тайно сказать самозванцу, что если он одним им даст жалованье, то они останутся в его службе, и что, глядя на них, и другие хоругви не покинут его. Расстрига, к несчастью своему, поверил им, но, хотя раздача им денег была сделана негласно и в ночное время, другие хоругви узнали об оной, и тогда возмущение сделалось всеобщим. Напрасно самозванец скакал из хоругви в хоругвь, увещевая недовольных повременить еще возвращением в Польшу. Его не слушали, и буйство дошло до такой степени, что поляки сорвали с него соболью шубу и что один из них осмелился даже сказать ему: «Ей-ей, быть тебе на столбе». Разгневанный Лжедимитрий наказал его пощечиной, но шубу свою не иначе получил обратно, как после того, как русские его приверженцы выкупили оную за триста злотых (то же нынешних серебряных рублей). Бунт окончился тем, что старый Мнишек, который был тогда болен, вынужден был обещать сам вести обратно в Польшу соотечественников своих. Таким образом, большая часть шляхты четвертого января оставила Лжедимитрия и направилась мимо Путивля на Пырятин. При самозванце осталось всего-навсего не более тысячи пятисот поляков. Мало утешенный прибытием остальных запорожцев, он засел в Чемлинском остроге, откуда потом перешел в Севск.

Царские воеводы столь поражены были понесенной ими неудачей под Новгородом-Северским, что от стыда даже не смели донести Борису о происшедшем. Когда же самозванец снял осаду Новгорода-Северского, то они сами отступили к Стародубу[95]. Царь, извещенный стороной о подробностях несчастной битвы, в справедливом гневе своем послал чашника Вельяминова-Зернова укорять князя Димитрия Шуйского и товарищей его в непростительном молчании. Но вместе с тем Борис почел благоразумным не умножать уныния в ратных людях и для того не только удержался от заслуженных ими упреков, но даже, притворяясь, будто неизвестен о малодушных их действиях, поручил Вельяминову сказать милостивое слово всему войску и засвидетельствовать признательность свою почтенному князю Мстиславскому, для излечения коего послал из Москвы доктора и аптекаря.

Храбрые защитники Новгорода-Северского также не остались без награждения. Князь Трубецкой и Басманов, призванные в Москву, были весьма честимы, а в особенности Басманов, которому царь из своих рук дал золотое блюдо весом в шесть фунтов, насыпанное червонцами, и сверх того две тысячи рублей (шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть нынешних серебряных) и много серебра из царской казны[96]. Но первейшим занятием царя было поставить военные силы свои в такое положение, чтобы успех был несомненным[97]. Для сего он отправил еще подкрепления к главному войску, а вместе с тем приказал Федору Ивано-

вичу Шереметеву собирать новый запасной корпус в окрестностях Кром. Меры сии казались достаточными, но Борис беспокоился мыслью, что до выздоровления князя Мстиславского верховное начальство в главном войске находилось в руках князя Димитрия Шуйского, уже на опыте оказавшего свою ничтожность. Впрочем, царь не хотел обидеть вельможу сего, который был ему свояком, и потому решился назначить старшего брата его родного, князя Василия Ивановича, прибыльным воеводой в большом полку, что давало ему в войске первое место после Мстиславского.

Князь Василий Иванович, в сопровождении многих стольников и стряпчих, отправился из Москвы и нашел войско близ Стародуба. Хотя оное уже простиралось до семидесяти тысяч человек[98], однако воеводы не только ничего не предпринимали, но даже как бы сами скрывались среди лесов. Новый вождь объявил им волю царскую: немедленно идти на неприятеля, и все двинулись к Севску. Узнав о приближении их, Лжедимитрий советовался с польскими и казацкими старшинами. Поляки представляли, что так как было еще более несоразмерности в силах, чем под Новгородом-Северским[99], то казалось благоразумнее уклоняться от столь неравного боя и сколь возможно медлить действиями в ожидании удобнейшего случая. Но запорожские атаман и полковники были противного мнения и предлагали смело идти навстречу царским воинам в надежде смутить их самой отвагой предприятия. Так как запорожцы составляли знатнейшую часть войска Лжедимитрия, то он почел необходимым послушаться их, к чему еще был побуждаем воспоминанием новгород-северской удачи.

Вследствие сего самозванец двинулся двадцатого января из Севска вдоль левого берега реки Севы и под вечер встретил царское войско, тесно расположенное в селе Добруне. Расстрига, хотя и решившийся на бой, искал, однако, нападением врасплох несколько вознаградить неравенство сил; в сем намерении он приказал преданным ему добруньским жителям ночью зажечь село, а сам готовился внезапно ударить на расстроенные тревогой царские войска. Но Борисовы воеводы остерегались, и зажигатели не смогли совершить своего предприятия.

Оставалось сразиться в открытом поле. На рассвете двадцать первого января царская конница выстроилась по обеим сторонам селения, сильно занятого пехотой. Князь Мстиславский, может быть, не совершенно еще исцелившийся от полученных ран, но не желавший уступить одному князю Василию Шуйскому честь победы, довольно вероятной, сел на коня и распоряжался войском. Лжедимитрий, с своей стороны предполагая нанести главные удары правому крылу царского войска, сам с палашом в руках повел на оное польские хоругви и свои русские дружины. Вместе с тем он отрядил конных запорожцев вправо, для удержания левого царского крыла, а пешим запорожцам приказал с тяжелыми орудиями остановиться за горой, в некотором расстоянии позади действующих войск, коих они должны были служить резервом; распоряжения довольно замечательные, открывающие замысловатое намерение в случае успеха отбросить царское войско на реку Севу. Расстрига, с обыкновенной своей словоохотливостью, говорил войску речь почти одинакового содержания с произнесенной им под Новгородом-Северским, но не всегда нечестивая наглость остается без заслуженного наказания.

После небольшой стычки между передовыми отрядами открылась пушечная пальба, вслед за коей самозванец приказал полякам спуститься в лощину, прикрывающую правое царское крыло, и стараться отрезать оное от селения, в центре находящегося[100]. Семь польских хоругвей, под предводительством гетмана Дворжицкого[101], выстроились в один ряд и бросились вперед стремглав, будучи поддерживаемы последней восьмой хоругвью польских гусар и всей русской конницей, которой приказано было надеть сверх лат белые рубахи для различия от царских всадников[102]. Князь Мстиславский, не выдержав нападения, сам дви-

нул навстречу неприятелю правое крыло свое, в голове коего находились две дружины иноземцев, под начальством лифляндца фон Розена и француза Маржерета[103]. Поляки неслись с такой яростью, что иноземцы после кратковременного сопротивления были опрокинуты, а глядя на них и вся царская конница обратилась в бегство. Тогда Дворжицкий, повернув вправо, направился на селение, занимаемое царской пехотой, которая, допустив неприятеля на весьма близкое расстояние, сделала по нему залп из десяти или двенадцати тысяч ружей. Стрельба сия, хоть и не довольно меткая, чтобы много вредить полякам, привела, однако, их в большое расстройство, которое обратилось в совершенное расстройство, когда один из соотечественников их прискакал с известием, что конные запорожцы, встревоженные треском и дымом ружейной пальбы, оставили место сражения и, не быв никем теснимы, опрометью побежали по Рыльской дороге. Смущенная сей неожиданной робостью днепровских удальцов, конница польская и русских злодеев также обратила тыл и понеслась вслед за казаками, оставив на жертву запорожскую пехоту, которая немедленно была окружена и совершенно истреблена после мужественного сопротивления. Беглецы безоглядно промчались до города Рыльска, находящегося в восьмидесяти верстах от места сражения. Их преследовал шеститысячный отряд царской конницы, но только на пространстве восьми верст. Впрочем, блистательная победа сия стоила недорого: урон царского войска состоял только из пятисот россиян и двадцати пяти иностранцев[104].

Неприятель потерял пятнадцать знамен и штандартов, тринадцать орудий и до шести тысяч человек убитыми, кроме попавших в плен. Сам Лжедимитрий находился в величайшей опасности[105]. Раненный в ногу конь его уже отказывался нести его; спасением своим он был обязан князю Татеву, который сопроводил его до Рыльска[106].

Запорожские казаки также искали убежища в Рыльске, но тамошние жители, упрекая их в измене Димитрию и в трусости, не только не согласились впустить их к себе, но даже стреляли по ним. Не лучше им сделан был прием и в Путивле, почему и решились они оставить русские пределы и возвратиться в Запорожье.

Царские воеводы отправили к Борису с донесением об одержанной победе чашника Михайлу Борисовича Шеина[107] и также послали в Москву пленных поляков и запорожцев. Русские изменники, попавшиеся в плен, были повешены перед войском[108].

Самозванец, отдохнув два дня в Рыльске, переехал в Путивль. Несмотря на легкомысленную его самонадеянность, положение, в коем он находился, казалось ему самому отчаянным[109]. После понесенного поражения оставалась при нем только горсть людей, с коими нельзя было ему надеяться еще продолжать войну. Правда, северский народ не отставал от него и готов был еще служить ему, но за недостатком денег новые новобранцы оставались бы без оружия и без пропитания. В сей крайности Отрепьев замышлял уже, отказавшись от предприятия неудачного, тайно уйти в Польшу. Но русские приверженцы его не позволили ему исполнить сего намерения. Участь добруньских пленников показывала им, что нельзя было им ожидать пощады от Бориса, и они решились до конца отыскивать успеха, хотя почти вовсе неимоверного, но в коем находили для себя единственный залог безнаказанности. Они объявили Лжедимитрию, что не выпустят его из Путивля и что ему предстоит пить одинаковую чашу с ними и спастись или погибнуть всем вместе[110]. Даже грозили ему, если он не ободрится, выдать его царю и тем еще попытаться выслужить себе помилование. Расстрига, таким образом вынужденный продолжать свое самозванство, снова ревностно принялся за дело. Первым старанием его было удержать при себе остатки разбитого войска. Поляки готовились уже разойтись по домам. Он уговорил большую часть из них еще не покидать его, и так как они в несчастной битве переломали или побросали все копья, то он приказал им сделать новые. Между тем он не упустил также изыскивать средства к вос-

становлению сил своих, как извне, так и внутри России. В сем намерении он послал князя Татева просить у короля Сигизмунда немедленного вспоможения. Для умножения же числа своих приверженцев в России он издал новые манифесты, где несколько пространнее прежнего рассказывал вымышленную историю свою[111], но новых доказательств в подлинности оной никаких не представил, а ссылался, как и прежде, на свидетельства людей все умерших, как то: князя Ивана Мстиславского, дьяка Андрея Щелкалова и литовского канцлера Сапегу. Впрочем, нашлось много людей легковерных, которые, слепо веря нравящейся им басне, спешили в Путивль, дабы предложить услуги свои тому, кого считали несчастной жертвой властолюбия ненавистного им Бориса. В особенности расстрига утешен был возвращением к нему в Путивль четырехсот донских казаков. Неизвестно, куда они ходили из-под Новгорода-Северского, но достоверно только то, что их не было при самозванце под Добрыничами. Что же касается до посылки князя Татева, то оная не имела успеха. Король Сигизмунд, видя худой оборот дел Отрепьева, не хотел подать повод России негодовать на Польшу и отказался принять Татева[112].

Между тем Шеин нашел Бориса на богомолье в Троицко-Сергиевском монастыре. Известия, привезенные им, чрезвычайно обрадовали царя, который пожаловал вестника в окольничьи и немедленно послал через любимого стольника своего, князя Мезецкого, золотые[113] воеводам и десять тысяч рублей (тридцать три тысячи триста тридцать три нынешних серебряных) для раздачи войску[114]. Может быть, здравая политика требовала бы, чтобы при сем случае государь обуздал строгость, по крайней мере, преждевременную, оказываемую воеводами над русскими пленными. Должно было предвидеть, что неминуемым следствием оной будет отдалить всякую мысль покорности в сподвижниках самозванца и принудить их к отчаянному сопротивлению. Но Борис был злопамятен и жестокосерд. В упоении давно нетерпеливо ожидаемой им победы он не только дал волю воеводам, но даже требовал от них большей суровости[115], полагая дело уже совершенно конченым и что оставалось ему только тешиться казнями тех, которые осмелились столь нагло потревожить его спокойствие.

Нет сомнения, что все могло бы быть конченым, если бы воеводы живо воспользовались поражением врага, но они действовали вяло и как будто нехотя. Царское войско подступило под Рыльск на другой день выезда самозванца из сего города. Жители, воспламененные начальниками своими, князем Григорием Рощей-Долгоруким и Яковым Змиевым, злыми приверженцами расстриги, не хотели сдаваться[116]. Воеводы, решившись добывать город формальной осадой, приказали плести туры, копать траншеи и ставить батареи, из коих открыли огонь. Рыляне также сильно отстреливались и просили помощи у самозванца, который послал им пятьсот поляков и две тысячи русских. Отряд сей, пользуясь беспечностью царских воевод, успел ночью тайно пробраться в город и значительно усилил упорство осажденных. Наконец, царские воеводы после пятнадцатидневного стояния сняли осаду Рыльска и, отойдя в Комарицкую волость, расположились там близ Рагодетского острога, дабы до весны дать отдохновение войску, весьма утомленному зимним походом. Оставался еще в поле только Шереметев[117], который тотчас по получении им известия о добруньской победе собрал предводительствуемый им запасной корпус и с оным обложил город Кромы, коего жители, следуя примеру рылян, изготовились к обороне.

Обыватели Комарицкой волости изъявляли большую преданность самозванцу, когда он с войском своим стоял у них, и сей изменой, без сомнения, заслужили наказание. Но благомыслящее правительство, исполняя печальный долг – карать преступников, умеет быть строгим без лютости. Не так поступили царские воеводы. Ожесточенные претерпенной ими под Рыльском неудачей, они зверски вымещали оную над несчастными комарицкими жителями[118]. Вся волость была немилосердно опустошена; жителей мучили и убивали. Не только

крестьян, но жен их и детей вешали за ноги на деревьях и потом стреляли в них из ружей, как в цель. Пишут, что таким образом погибло до нескольких тысяч душ.

Сими неистовствами, может быть, воеводы желали еще выслужиться у злобного царя. Но Борис, горестно удивленный отступлением войска от Рыльска, был вне себя от досады. Отложив благоразумие, выказанное им после несчастной новгород-север-ской битвы, он послал в Рагодетский острог окольничего Петра Никитича Шереметева и думного дьяка Афанасия Власьева объявить свой гнев не только воеводам, но и всему войску[119], оставляя на их ответственности бедствия, могущие произойти от их нерадения, коему обязан был расстрига своим спасением. Между тем требовал, чтобы вместо отдохновения шли немедленно под Кромы на соединение с отрядом Шереметева и совокупными силами непременно взяли сей город. Ослушаться еще не смели, но летописцы наши замечают, что вся рать оскорбилась укорным словом царя и что с тех пор многие, дотоле верные, страшась жестокой опалы, стали помышлять, как бы избыть Бориса и поддаться самозванцу.

Сосредоточение всех сил царских под Кромами составляло ополчение более чем в сто тысяч человек, против усилий коих казалось вовсе невозможным устоять ничтожному городу. Но защитники оного, в исступлении страстей, обыкновенно междоусобными раздорами возжигаемых, и не помышляли о сдаче, а готовились к отчаянному отпору. Впрочем, судя по малолюдству их, отважная решимость едва ли бы служила им спасением, если бы самозванец не поспешил прислать к ним на помощь четыре тысячи донских казаков и русских[120]. В сем случае царские воеводы сделали такую же оплошность, как и под Рыльском. Вспомогательный отряд, старавшийся ночью пробраться в Кромы, был замечен, когда уже находился под стенами осажденного места, и царские войска могли только теснить хвост неприятеля и не воспрепятствовали ему войти в город.

Огорченные сей неудачей, воеводы решились не щадить город и выставили сильные батареи из пушек и мортир. Осажденные не робели и с усердием подвергались трудам и опасностям, следуя примеру начальников своих, Григория Акинфиева и донского атамана Корелы. В особенности доблестью и искусством отличался Корела, так что между современниками он прослыл чародеем[121]. Не надеясь на деревянную стену, составляющую единственное укрепление города, он приказал обвести оный валом со рвом, а под валом сделать землянки[122], где осажденные находили верное убежище от навесных ударов. Сими оборонительными мерами не довольствовались казаки: они из рва прокопали несколько контрапрошей, откуда часто выползали и тревожили батареи и траншеи осаждающих. Когда же царские дружины собирались для нанесения им сильного удара, то они уходили в норы свои, куда не смели за ними следовать царские воины.

Князь Мстиславский с товарищами, стыдясь наконец терять бесполезно людей и время под стенами маловажного города, приступили к решительному действию. Подосланные ими воины ночью зажгли деревянную городскую стену[123]. Пожар сделался ужасный; стена сгорела, а осажденные, гонимые пламенем, покинули город и искали убежища в остроге. Царские войска беспрепятственно засели на валу, так что город можно было почесть взятым; оставалось только покорить острог, где неприятель за теснотой места недолго бы в состоянии был держаться. По несчастью, один из воевод, Михайло Глебович Салтыков, уже выступал на позорное поприще измены, на коем должен был доставить печальную известность имени своему и навлечь на себя проклятие отечества. Без приказа главных вождей и без совета товарищей своих он свел с вала засевших там воинов и велел им отступить в траншеи, как говорят летописцы, «норовя тому окаянному Гришке». Таким образом, осажденные, погасив пожар, получили возможность выйти из острога и снова занять городской вал.

Узы подчиненности до такой степени были ослабленными в царском войске, что Мстиславский и Шуйский не подумали или не посмели наказать Салтыкова. Они даже не удалили

его от себя, и злодей сохранил важное место, предоставляющее ему способы замышлять новые измены.

После сего неудачного покушения воеводы не предпринимали более ничего важного. Впрочем, несколько времени спустя войско находилось в таком печальном состоянии, что несправедливо было бы осуждать вождей в бездействии. Необыкновенная суровость поздней зимы имела пагубное влияние на здоровье царских воинов[124]. Жестокий понос свирепствовал в их стане и причинял большую смертность. Царь со свойственной ему заботливостью прислал из Москвы нужные лекарства, коих спасительное действие прекратило болезнь[125].

Бесплодное стояние Борисовых воевод под Кромами умножало в народе недоверие к правительству и наклонность к самозванцу. Даже в Москве громко толковали, что само Провидение видимо покровительствует Димитрию, которого одолеть не могут несметные силы, выставленные против него. Ожесточенный царь люто наказывал болтливых: многим резали языки, других даже предавали смерти[126]. Суровость сия могла воздержать нескромных, но не изменяла расположения сердец, с непонятным ослеплением влекомых к Лжедимитрию. Особливо в Северской земле все единодушно признавали расстригу за истинного царевича. Напрасно Борис пытался еще раз вразумить тамошний народ. По повелению его три монаха, знавшие Отрепьева, когда он был дьяконом, отправились в Путивль с грамотами от царя и патриарха к духовенству и обывателям, в коих увещевали схватить самозванца и с приверженцами его отправить в Москву[127]. Иноки, прочитав грамоты, сами, со своей стороны, заклинали народ не верить гнусному обману, и говорили, что Лжедимитрий никто иной, как старый их товарищ Отрепьев. Расстрига велел немедленно поймать их и подвергнуть пытке. Двое, которые были помоложе, выдержали муку, но третий, уже старик, выказал малодушие. При самом начале истязания он обещал повиниться во всем и просил переговорить с самозванцем наедине. Расстрига согласился допустить его до себя, и следствием их свидания было то, что двое из окружающих Лжедимитрия сановников, оговоренные старым монахом, были выданы народу и расстреляны на площади под предлогом, что вели тайную переписку с Борисом и обещали ему отравить Лжедимитрия. Доноситель был щедро награжден, а его непреклонных товарищей заключили в темницу.

Третий месяц уже протекал после добруньской битвы, а важного перевеса не было ни на той, ни на другой стороне. Правда, дела самозванца, оправившегося после страшного поражения, видимо улучшились, и он не утратил ни одного из передавшихся ему городов, но со всем тем он не был еще в состоянии снова выступить в поле и вынужден был оставаться в Путивле в оборонительном положении. Казалось, что междоусобию суждено было длиться, как вдруг внезапное событие произвело нечаянный перелом. Ничто не предвещало близкой кончины царю Борису. Он имел от роду только 53 года, был бодр, и здоровье его казалось надежным; хотя он с давних лет и страдал подагрой, но всем известно, что сей недуг не противен долголетию. Несмотря на то, могила уже готовилась для него. Поутру тринадцатого апреля он еще занимался делами, потом обедал, но, когда встал из-за стола, то вдруг почувствовал сильную немощь[128]. Едва успели причастить его и постричь под именем Боголепа. После двухчасовых страданий он скончался. Скоропостижная смерть сия породила разные толки. Многие полагали, что царя отравили самозванцевы приверженцы; другие думали, что сам Борис, отчаиваясь одолеть Лжедимитрия, принял яд. Но можно ли допустить, чтобы Борис, нежно любивший детей своих, решился прекратить жизнь свою, не приняв никаких мер к их спасению? Нельзя также не заметить, что, когда по низвержении расстриги всенародно обвиняли его не только в действительных, но даже и в вымышленных злодеяниях, никогда, однако, не упрекали смертью Бориса, что не преминули бы сделать, если бы оставалось малейшее сомнение насчет соучастия его в отравлении царя. По сим причинам долг

беспристрастного историка – держаться рассказа Маржерета, который смерть Бориса приписывает апоплексии.

Память о царе Годунове сохранилась в народе как о злостном и коварном хищнике престола. Только в наше время некоторые писатели стараются оправдать его в приписываемых ему преступлениях, намекая, что летописцы несправедливо очернили его в угодность враждебной Годуновым фамилии Романовых. Но не одни летописцы наши описывают злодеяния Борисовы. Самые им нежно чтимые иноземцы, как, например, Бер, Маржерет и другие, одинаковым образом с русскими изъясняются о нем. После столь единогласного свидетельства современников противоречить оному двести лет спустя означало бы гоняться за бездоказанной новизной.

Впрочем, каков бы ни был Борис, смерть его была бедой для России, ибо предвещала торжество гнусного самозванства. Если Борису, при всей государственной опытности его, не удалось сокрушить Лжедимитрия, то можно ли было ожидать лучшего успеха от юношеской руки шестнадцатилетнего сына и преемника его, Феодора Борисовича? Напрасно новый царь, прекрасный телом и душой, отличался умом и познаниями чрезвычайными[129]. Качества сии не заменяли зрелости и твердости, необходимых правителям в смутное время для обуздания волнующихся страстей. Мать Феодорова, вдовствующая царица Марья Григорьевна, коей предстояло руководствовать любезного ей сына, сама столь же мало, как и он, имела навыка в делах.

Однако в столице вступление на престол Феодора совершилось спокойно. Строптивость умов еще воздерживалась невольным уважением к установленному правительству, повиноваться коему нелегко разучиться. При сем случае с большой пользой действовал патриарх, искренне преданный дому Годуновых. Примеру и увещаниям его никто еще не смел противиться. Москва присягнула юному царю, хотя и не единодушно, но, по крайней мере, единогласно.

Но утверждение Феодора на престоле зависело не столько от согласия столицы, сколько от покорности войска, собранного под Кромами. По несчастью, царица и сын ее не доверяли знатным боярам, начальствующим над оным, и опасались, чтобы они не вздумали, воспользовавшись удобным случаем, отложиться от ненавистного для их гордости повиновения, к коему покойный царь привел их единым страхом своего могущества. Положили отозвать князя Мстиславского и обоих Шуйских под благовидным предлогом, что юному царю необходимо окружить себя советниками мудрыми[130]. На место Мстиславского назначили главным начальником боярина князя Михаила Петровича Катырева-Ростовского, мужа честного, но не дальновидного, коему для совета и руководства придали в качестве второго воеводы большого полка Басманова, уже на деле оказавшего себя вождем смелым и верным[131]. Самое обстоятельство, что Басманов не был вельможей родовитым, казалось залогом его преданности в том предположении, что он, чувствуя цену неожиданной милости, будет всемерно стараться заслужить оную. При отпуске его к войску царица и царь говорили ему, что на него полагают всю надежду свою, и просили его служить им, как служил царю Борису. Басманов обещал, клялся, что не пощадит усилий, дабы направить всех на путь истинный, и уверениями своими успокоил царственного юношу. Но вскоре несчастный Феодор и горестная мать его должны были испытать, что часто правители ошибаются, полагаясь на непоколебимую признательность выведенных ими временщиков.

С Катыревым и Басмановым послан был также под Кромы митрополит Новгородский Исидор для приведения к присяге всего войска. Они уже не нашли в стане Мстиславского и Шуйских. Отозвание сих первых вельмож в государстве было совершено с такой оскорбительной для них недоверчивостью, что, предписывая им немедленно ехать в Москву, таили еще от них смерть Борисову[132]. Войско известилось об оной только семнадцатого апреля,

по прибытии новых вождей и митрополита, которые именем Феодора обещали всем богатые милости по отправлении сорочин Борисовых. Сделалось большое волнение. Благомыслящих людей печалило предчувствие опасностей, угрожающих отечеству; многие, напротив того, не скрывали преступной радости, внушаемой им надеждой на исполнение коварных замыслов[133]. Однако все целовали крест Феодору, иные искренне, другие нехотя и единственно для того, что не успели условиться в действиях со своими единомышленниками.

Шаткое расположение умов не только в государстве, но даже в самом войске не могло укрыться от проницательности Басманова и погружало его в глубокую думу. Сей мнимый поборник правды был только низким честолюбцем. В Новгороде-Северском он верен был не долгу своему, а еще неприкосновенному могуществу Борисову. Теперь же, предусматривая неминуемую гибель для Феодора, он не имел никакой охоты жертвовать собой для поддержания колеблющегося престола своих благотворителей. С другой стороны, он с точностью, бесчувствию свойственной, исчислял все выгоды, которые мог себе доставить посредством измены. Передав порученное его бдительности войско тому, в самозванстве коего не сомневался, он действительно полагал на главу его царский венец, и сия столь важная услуга открывала ему надежду, что самозванец его наградит, как бывают награждаемы сообщники похитителей чужого достояния, то есть с безмерностью, которой ожидать нельзя от законных владетелей. Сим побуждениям могли противоборствовать только правила чести и добросовестности, но они были чужды Басманову, и он решился обесславить себя навеки.

Несколько времени Басманов не приступал еще к исполнению коварного намерения своего. Прежде всего ему нужно было посредством тайных происков уговориться с теми, на сообщничество коих он полагался. Во всех сословиях нашлись изменники, даже между главными вождями. Неудивительно, что уже осрамившийся Михайло Глебович Салтыков вошел в заговор; но, чего ожидать не так легко было, то же сделал один из первейших вельмож в государстве, князь Василий Васильевич Голицын, и его постыдному примеру последовал брат его родной, князь Иван. Сии потомки Димитрия Донского и Гедимина в безумном порыве гордости считали большим унижением для себя повиноваться роду Годуновых, чем лобызать руку бродяги, который, по крайней мере, господство свое основывал на высоком имени. К сим знатным крамольникам пристали дети боярские городов Рязани, Тулы, Каширы и Алексина, где по смерти Борисовой уже признавали за государя мнимого Димитрия. Еще начальники заговора тревожились мыслью, что при войске находился четырехтысячный отряд иноземцев, по большей части немцев, которые, будучи облагодетельствованы царем Борисом, казалось, должны были стоять за его сына. Но иноземцы, служа единственно из личной выгоды[134], легко забывают долг свой, когда от измены могут ожидать более пользы, чем от верности. Убежденные в сей истине, Басманов и Голицын решились в тайной беседе с начальником иностранцев, лифляндцем фон Розеном, открыть ему свои замыслы и показать, что при общем расположении умов в пользу самозванца для Феодора не оставалось никакой возможности удержаться на престоле и что ему, Розену, безумно было бы, гоняясь за призраком чести, обрекать себя на гибель столь же бесполезную, сколь и неминуемую. Если Розен еще несколько колебался, то единственно оттого, что думал, что воеводы ищут только испытать его преданность к Феодору; но, удостоверясь наконец в действительности намерения их предаться Лжедимитрию, он тотчас же обещал им действовать со своей дружиной с ними заодно.

Между тем как сии ковы сплетались под Кромами, в Путивле расстрига ждал с нетерпением, какие следствия будет иметь смерть Борисова, о коей первое известие он получил двадцать седьмого апреля[135] от выбежавшего к нему из царского стана дворянина Бахметьева. Сперва он не верил столь для него радостному событию, но в скором времени со всех сторон получаемые вести подтвердили показание Бахметьева. Также приверженцы его доносили

ему, что везде низкого состояния люди из ненависти к памяти Борисовой гнушались повиноваться его сыну и что даже в стане под Кромами многие не таили своей наклонности отложиться от Годуновых. В сих обстоятельствах он чувствовал, что для ускорения перелома в свою пользу полезно было бы ему снова выступить в поле. Но хотя Ратомский, староста Островский, и привел ему новое подкрепление из Польши, всего-навсего было при нем только две тысячи поляков и десять тысяч русских воинов[136]. Силы сии для наступательных действий казались недостаточными самозванцу, утратившему после добруньской неудачи прежнюю самонадеянность свою. Сам не смея еще выступить из Путивля, он решился выдвинуть только по направлению к Кромам отряд, состоящий из трех хоругвей польских и трех тысяч русских воинов, под начальством поляка Запорского.

Город Кромы лежит на левом берегу реки того же имени; на том же берегу находился и главный стан осаждающих войск[137]. На противоположной же стороне реки стоял только отряд для наблюдения дорог, из Путивля ведущих. Татарская конница, высланная от сего отряда для разъезда, донесла о приближении Запорского. Сие известие произвело в стане некоторое смятение, которым Басманов не преминул воспользоваться для приведения в исполнение своего постыдного намерения. По повелению его седьмого мая Розен с иностранной дружиной переправился за реку Крому и выстроился на обширной равнине, прилегающей к правому берегу сей реки. За ним следовали русские полки, уже приготовленные к измене своими начальниками. Когда и они окончили переправу, то Басманов явился на мосту, громогласно провозгласил государем царя Димитрия и, обращаясь к воинам, еще не подговоренным, звал тех из них, которые желают служить сыну царя Иоанна, соединиться с верными его дружинами, уже переправившимися за реку. Почти все бросились к мосту. Напрасно окольничий Годунов старался противиться сему стремлению; его схватили и связали. Еще верные своему долгу простодушный князь Катырев-Ростовский и князь Телятевский, видя малое число оставшихся при них воинов, спешили отступить с ними до самой Москвы. Жители кромские, с удивительной твердостью выдержавшие трехмесячную осаду, с радостью отворили ворота новым друзьям своим.

Посягнув на дело, противное долгу и чести, Басманов действовал смело и открыто; он понимал, что впредь участь его делалась нераздельной с участью самозванца, и потому решился предаться ему телом и душой[138]. Но робкий Голицын еще лукавствовал. Он сам велел связать себя, дабы в случае неудачи Лжедимитрия еще можно было бы ему приписать принуждению признание его за своего государя. Но лживым поступком сим он не успел обмануть ни потомство, ни современников, а только подал повод Басманову опередить себя в милости у самозванца.

Первым старанием изменников было послать в Путивль к Лжедимитрию с повинной, от имени войска и государства, князя Ивана Васильевича Голицына с выборными людьми от всех уездов[139]. Легко себе вообразить восторг самозванца. Дотоле называясь только царевичем, он не усомнился более принять имя царя, которое ему давали уже восемьдесят тысяч русских воинов. Милостиво приняв православных из-под Кром, он послал повеление войску ожидать его под Орлом, а сам выступил из Путивля пятнадцатого мая с бывшими при нем польскими и русскими дружинами. На пути приветствовали его изменившие воеводы, сперва Салтыков и Басманов, а потом князь Василий Голицын, и с ним приехал также Шереметев, который, во время осады Кром, начальствовал в Орле. Воеводы сии проводили самозванца до Орла, где собранное войско приняло его с радостными восклицаниями. Те, кои и неохотно передавались расстриге, не менее прочих изъявляли ему свое усердие, дабы не подвергнуться злой участи несчастных, доносчиками изобличенных в преданности к Феодору, которых разослали по темницам[140]. Бывший начальник передового полка, окольничий Годунов, также подвергся заключению. Наказав таким образом своих противников, само-

званец немедленно приказал распустить недели на две или на три всех воинов, имеющих подмосковные поместья[141]. Прочим же дал повеление двинуться к Москве под главным начальством князя Василия Голицына и стараться пресечь подвоз съестных припасов в столицу, если там еще будут противиться его воцарению. Сам Лжедимитрий, имея при себе две тысячи поляков[142], следовал за войском, но, не совсем доверяя еще оному, на каждом ночлеге останавливался за пять или за шесть верст от главного стана, и всегда около его квартиры сто поляков держали ночной караул. Сии меры предосторожности могли быть не совсем бесполезными, ибо действительно многие из дворян, ездивших с князем Иваном Голицыным из-под Кром в Путивль, узнали в мнимом Димитрии чудовского дьякона[143] и в тайных беседах с горестью оплакивали, что вдались в столь наглый обман.

Феодор еще царствовал в унылой Москве, но венец Мономахов уже спадал с юной главы его. Правительственная дума его, в беспамятстве отчаяния, не принимала никаких мер ни для замедления шествия самозванца, ни для отыскания верного убежища для царского семейства и заботилась единственно об удержании в повиновении московской черни, коей грозное молчание предвещало близкую бурю. Уже гонцы Лжедимитриевы приезжали почти ежедневно в столицу с возмутительными грамотами, но их подстерегали, ловили и предавали смерти[144].

Несмотря на то, расстрига надеялся еще взволновать столицу. Ему казалось нужным, для упрочения своей державы, быть призванным первопрестольным городом как законный государь, а не врываться в оный силой оружия, на праве бесчинного победителя. Для сего он отправил еще дворян, Наума Плещеева и Гаврилу Пушкина, но не в самую Москву, а в полторы версты от оной лежащее село Красное[145], где жили богатые купцы и ремесленники, имевшие в столице многих друзей и родственников. С сими посланными самозванец писал, что он еще не винит москвитян, которые, будучи обмануты Годуновыми, медлят признавать его, но что он надеется, что, наконец, и они, по примеру всей России, откроют глаза; что покорность их будет награждена, для бояр – прибавкой вотчин, для дворян и приказных людей – разными милостями, для торговых людей – убавлением пошлин и податей, для всего народа благоденствием и тишиной. Притом Лжедимитрий напоминал им, что в случае дальнейшего сопротивления с их стороны они не избегнут заслуженного наказания[146].

Красносельцы приняли честно Плещеева и Пушкина, с умилением читали привезенную ими грамоту и вызвались шумной толпой проводить их в столицу. Сие происходило первого июня. Несчастный Феодор еще надеялся смирить крамольников и выслал против Красного села воинскую дружину. Но в тех, кое еще и не изменяли ему, не было уже ни бодрости, ни усердия. Оробевшие воины его не дошли до села и без боя обратили тыл. По их следам красносельцы ворвались в Москву и, дойдя до лобного места, стали сзывать народ для прочтения Лжедимитриевой грамоты. Московские обыватели спешили на сборище, где сподвижники самозванцевы толковали им, что бояре и войско не передались бы Димитрию, если бы он не был истинным царевичем, что настало время повиниться ему и что долее противиться было бы только безумно жертвовать собой, даже без пользы для ненавистного дома Годуновых, ибо Москва, защищаемая только горстью воинов, утекших из-под Кром, не могла устоять против великих сил, направляющихся на нее. Увещания подействовали. Все согласились провозгласить Димитрия, иные повинуясь внутреннему убеждению, другие имея только в виду собственную безопасность.

В то время, как таким образом возмущался народ на лобном месте, Феодор с матерью и сестрой, прелестной Ксенией, трепетали во дворце, окруженные знатными сановниками государства, еще верными данной юному царю присяге, но с ужасом усматривающими уже неминуемое торжество самозванца. Бодрствовал один патриарх! Он заклинал бояр идти вразумить народ и направить его на путь долга и правды. Внемля ему, князь Мстиславский,

князь Шуйский, Бельский и другие вышли на лобное место и тщетно пытались усовестить взволновавшуюся чернь[147]. Грозный вопль мятежа заглушал речи их. Им кричали: «Не гибнуть нам за Годуновых! Да здравствует Димитрий! Мы были во тьме кромешной! Красное солнце наше восходит!». С сими словами бунтовщики хлынули ко дворцу. Еще кремлевские стены могли бы остановить их стремление, но в беспамятстве страха никто не помыслил затворить крепостные ворота. Не встречая нигде сопротивления, буйные толпы ворвались во дворец, схватили царя, царицу и царевну, но, посреди самого неистовства своевольничества сохраняя еще некоторое уважение к прежним повелителям своим, отвели их безвредно на старый двор Годунова. Воздержанность сия тем более была замечательна, что ненависть народная к памяти царя Бориса существовала во всей силе[148]. Все родственники его, Годуновы, Сабуровы и Вельяминовы, были заключены, дома их разломали, имение разграбили не только в столице, но даже потом и в поместьях и вотчинах их. Имение иностранных медиков также подверглось расхищению, единственно оттого, что покойный царь любил и жаловал их[149].

Наконец бояре, уже действующие именем Димитрия, утишили мятеж. Вся Москва целовала крест самозванцу, и третьего июня Боярская дума выслала к нему с покорностью столицы бояр: князя Ивана Михайловича Воротынского и князя Андрея Андреевича Телятевского, окольничего Петра Шереметева и думного дьяка Власьева[150]. Посланные сии нашли расстригу в Туле, уже извещенного о событиях московских через полученные им донесения от Плещеева и Пушкина. Самозванец принял на себя вид законного государя, справедливо раздраженного слишком продолжительным упорством своих подданных[151]. Первым наказанием для прибывших вельмож служило то, что Отрепьев прежде их допустил к руке своей присланных к нему с Дона казаков. Когда же позволил явиться пред собой представителям думы боярской, то грозно упрекал их в непокорности, а князя Телятевского не хотел даже простить за то, что под Кромами он не пристал к изменившим в пользу его воеводам. Он приказал посадить его в тюрьму и позволил на глазах своих казаков бить его почти до полусмерти.

Опираясь на покорность войска и столицы, Отрепьев уже мог везде действовать как царь законный. По повелению его в отдаленнейшие города России разослали указы для приведения всех людей к присяге царице-инокине Марфе Феодоровне и сыну ее царю Димитрию Иоанновичу[152]. Нигде не встретилось ни малейшего сопротивления, и целая Россия беспрекословно целовала крест дерзкому бродяге.

Однако самозванец еще медлил вступлением своим в Москву. Его тревожила мысль, что там он будет встречен патриархом, которому лично был известен. Также немало заботило его и то, что неловкие клевреты его в день возмущения позволили народу оставить в живых царя Феодора. Если бы расстрига действительно был настоящим Димитрием, то мог бы великодушно миловать Феодора, который в глазах его был бы только невинным сыном его злодея, но для самозванца существование законного государя представляло ежедневную опасность, ибо только явление настоящего Димитрия могло справедливо уничтожить права на престол Феодора, законно наследовавшего после отца, коего избрание было единогласным делом целой России. К тому же прекрасные качества Феодора привлекали к нему сердца всех, коих не ослепляла закоснелая ненависть к царю Борису. Отрепьев не был нрава свирепого, не любил проливать крови, но в сем случае желание упрочить свое владычество заглушало в душе его глас совести и человеколюбия. Он решился убийством Феодора избавиться от докучного соперничества.

Приняв сие гнусное намерение, самозванец отправил перед собой в Москву Басманова с частью войска. Но сердце человеческое вмещает в себе различные степени злодейства! Басманов мог быть изменником, а не палачом! Он взял на себя только удерживать в повино-

вении столицу. Для святотатства же и цареубийства Лжедимитрий избрал столь же низкого душой, сколь высокого родом князя Василия Голицына и ему придал в товарищи подобного ему в бесстыдстве князя Василия Рубца-Мосальского, который в Путивле первый из чиновных людей добровольно предался самозванцу. С ними же был послан дьяк Сутупов, человек одинаковых с ними свойств. По прибытии своем в Москву злодеи занялись сначала изгнанием патриарха. Посланные ими люди ворвались в Успенский собор, где священнодействовал Иов, и, не воздерживаясь святостью места, в самом алтаре стали рвать с него святительскую одежду[153]. Иов не унизил высокого сана своего непристойной слабостью. Сняв сам с себя панагию, он положил ее у чудотворной иконы Владимирской Богоматери и со слезами возопил: «О Всемилостивая Пречистая Владычица Богородица! Сия панагия и сан святительский возложен на мя недостойного в храме твоем, Владычица, у честного образа Твоего чудотворной иконы; сею аз грешный исправлял слово сына твоего Христа Бога нашего девятнадцать лет; сия православная христианская вера нерушима была; ныне же, грех ради наших, видим на сию православную христианскую веру находяще еретичу, мы же грешные молим, умоли, Пречистая Богородца, Сына Своего, Христа Бога нашего, утверди сию православную христианскую веру непоколебимо». Сие упредительное воззвание против готовящихся для правоверия напастей еще более озлобило против святителя Лжедимитриевых слуг, которые, одев его в черную рясу простого монаха, позорно таскали по храму и по площади и, наконец, посадив в телегу, послали на обещание в Старицкий Богородцкий монастырь.

Совершив постыдный подвиг над патриархом, князья Голицын и Мосальский не замедлили исполнить и ужасный приговор над царским семейством. Взяв с собой Михайлу Молчанова, Андрея Шелефединова[154] да трех стрельцов, они отправились на Годунов двор, где нашли царя, царицу и царевну, сидящих вместе. Их немедленно развели по разным комнатам и принялись за злодейское дело. Царица тотчас же была удушена, но молодой Феодор защищал жизнь свою как разъяренный лев. Долгое время он боролся против четырех убийц и пал мертв только тогда, когда получил удар, отнявший у него все силы[155]. Царевну Ксению, которой дивная красота возбуждала сладострастие часто видавшего ее в Чудове монастыре самозванца, была сбережена для похоти палача ее несчастного семейства и отведена безвредно в дом позорного угодника Лжедимитриева, князя Мосальского. По убиении державного юноши и его матери безбожный князь Голицын старался разгласить в народе, что они сами со страха отравили себя. Но поелику самозванец не инако мог извлечь пользу от смерти Феодоровой, как удостоверив в оной всю Россию, то и вынуждены были выставить всенародно трупы несчастных жертв, так что всякий мог убедиться, что смерть им приключилась от удавления[156]. Самый прах царя Бориса не оставлен в покое; тело его было выкопано из Архангельского собора, переложено в простой гроб и вместе с телами супруги и сына погребено в Варсонофьевском монастыре на родовом кладбище Годуновых[157]. Заключенные со дня мятежа родственники Годуновых были разосланы по низовым и сибирским городам. Только Семена Годунова, сосланного в Переславль-Залесский, там удушили. Сия казнь служила ему наказанием за то, что при царе Борисе он был главным орудием гонений на Романовых, к коим самозванец выказывал любовь свою, уважая в них родственную связь с братом, будто милым сердцу его царем Феодором Ивановичем.

Очистив таким образом столицу от всех противников своих, расстрига решился идти к оной. На пути в Серпухове он в великолепных шатрах угощал обеденным столом до пятисот знатных особ[158]. Потом шестнадцатого июня перешел в село Коломенское, где дневал несколько дней, чтобы предварительно разведать о расположении москвитян, коим не переставал еще не доверять[159]. Но опасения его казались совершенно неосновательными. Санов-

ники московские спешили к нему в Коломенское с хлебом, солью и богатыми дарами. Лазутчики его также единогласно извещали, что столица ждет его с радостным нетерпением.

Самозванец решился, наконец, вступить в Москву двадцатого июня, но и среди торжественного шествия своего он для личной безопасности принимал меры, которые обнаруживали невольное смущение преступной души. Правда, его окружали шестьдесят русских вельмож, но впереди и сзади ехали дружины польской конницы; потом следовало иностранное войско, казаки, и, наконец, русские стрельцы замыкали шествие, во все время коего гонцы скакали беспрестанно взад и вперед по всем улицам и ежеминутно доносили Лжедимитрию о состоянии столицы[160]. Но все кипело радостью и усердием. Во всех церквах звонили в колокола. Народ толпился на улицах, по коим проезжал самозванец; кровли домов и церквей усыпаны были зрителями. При появлении Лжедимитрия народ кланялся в землю и кричал: «Здравствуй, наш отец! Государь и великий князь всероссийский! Даруй Боже тебе многие лета! Да осенит тебя Господь на всех путях жизни чудесной милостью, которою Он спас тебя в сем мире. Ты наше солнце красное!» Самозванец отвечал: «Здравствуйте, мои дети, встаньте и молитесь за меня Богу!» Время[161] было прекрасное, но в ту самую минуту, как самозванец через живой мост и Москворецкие ворота выехал на площадь, поднялся страшный вихрь, так что лошади едва не попадали. Народ в ужасе принял сие за худое предзнаменование для нового царствования[162]. Однако шествие продолжалось, и самозванец достиг лобного места, где ожидало его духовенство с крестами и иконами, сошел с коня, приложился к святыне и приказал петь молебен, в продолжение коего к соблазну и первому негодованию москвитян поляки, не слезшие с лошадей, трубили в трубы и ударили в бубны. Потом расстрига пошел в Кремль и в царских палатах сел на престоле мнимого отца своего Иоанна Грозного[163]. Провожавшее его польское войско помещено было все вместе на Посольском дворе. Лжедимитрий, не отстранивший еще от себя недоверия москвитян, желал иноземцев сих иметь всегда у себя под рукой. Только впоследствии времени, из уважения к жалобам поляков на претерпеваемую ими тесноту, позволил он некоторым из них перейти на особые квартиры.

Впрочем, подозрения самозванцевы имели некоторое основание. Невозможно, чтобы в продолжении шествия его почти через весь город никто из московских жителей не узнал в нем дьякона Отрепьева. Уже многие шептали между собой, что, по явному попущению Божию, русские за грехи свои подпали под иго наглого обманщика. Хотя таковые толки, еще противоречащие общему мнению, и не оглашались, но лазутчики Лжедимитриевы довели их до его сведения[164]. Самозванец, опасаясь, чтобы рано или поздно истина не разъяснилась, дал поручение окольничему Богдану Бельскому упредить грозный глас ее новым лживым свидетельством. Бельский, старый любимец царя Иоанна Васильевича, был человеком тщеславным и гибкосовестным. Он вышел на лобное место в сопровождении других вельмож и, напомнив народу, что по избранию царя Иоанна был пестуном малолетнего царевича Димитрия, клятвенно уверял, что самозванец был истинным сыном Иоанна, спасенным по особенной Божеской милости, и, наконец, поцеловав висящий на груди его образ Николая Чудотворца, воскликнул: «Берегите и чтите своего государя!» Слушатели единогласно ответствовали: «Бог да сохранит царя-государя и погубит всех врагов его». Сим криводушным действием вероломного старца достойно заключилось позорное торжество сего несчастно незабвенного дня, в который русские, так сказать, на раменах своих внесли удалого злодея в священные чертоги древних своих державцев.

Глава 2
(1605–1606)

С первого взгляда казалось бы, что человек, из низкого состояния достигнувший верховного сана, уже должен почитаться преодолевшим главнейшие препятствия, сопряженные со столь многотрудным предприятием, и что ему остается только спокойно наслаждаться тяжко добытым величием. Но история как древних, так и новейших времен почти всегда являет нам противное. Она многими примерами удостоверяет, что скорее можно похитить престол, чем удержаться на похищенном. Впрочем, сие довольно объясняется и тем, что никто без особенной отважности и слепой дерзости не может безмерно возвыситься, а самые свойства сии исключают благоразумие, необходимое для упрочения верховной власти, и, напротив того, внушая чудному счастливцу опасную самонадеянность, ведут его к опрометчивости и своенравию, всегда пагубным для правителей. Одинаковые причины должны иметь и одинаковые последствия: участь Лжедимитрия предугадывается.

Всякое новое царствование, каково бы оно ни было впоследствии, всегда начинается похвально. Первые действия самозванцева правления тем более ознаменованы были милостями, излиянными почти на все сословия, что он сам говаривал, что в его понятиях державцам представляются только два способа для укрепления своей власти: удерживать всех в повиновении чрезмерной суровостью или милостями и щедротами стараться привязывать к себе людей, не жалея для сего никаких сокровищ, и что он, по побуждению сердца своего, избрал последнее средство[165].

Не только мнимые родственники нового царя Нагие, а также Романовы, но и все прочие жертвы мстительного и подозрительного царя Бориса были возвращены из ссылки. Невольно постриженного в монахи Филарета Никитича Романова посвятили в митрополиты Ростовские и Ярославские[166]. Слепой царь Симеон Бекбулатович был вызван в столицу и принят с великой честью[167]. Самые родственники Годуновых испытали важное облегчение в своей участи. Их не только освободили от заключения, но даже дали им воеводские места в Сибири и других отдаленных городах. Басманов первый получил боярство. Потом многие из знатных особ были пожалованы в бояре, другие в окольничие. Всем служилым людям удвоили денежное жалованье. Торговля была объявлена совершенно свободной, как для русских, так и для иноземцев[168]. Приказам повелено вершить дела без всяких посул. Объявлено, что сам царь будет в каждую среду и субботу у себя на крыльце принимать челобитные от всех людей. Лжедимитрий не только сам хотел хвалиться справедливостью, но даже оказывал готовность исправлять неправды прежних лет. Так, например, мнимый отец его, царь Иван Васильевич, по злостному своенравию своему мало заботившийся о священной неприкосновенности частной собственности, забирал у многих лиц деньги, которые никогда возвращаемы не были не только самим Грозным царем, но даже и в правление Бориса Годунова[169]. Самозванец приказал выдать все суммы сии, кому они принадлежали. Следуя принятому намерению по возможности задабривать всех, он хотел было угодить и духовенству, призвав епископов в государственную[170] думу, которую предполагал преобразовать наподобие польского сената. Но сделанное уже им на сей предмет предначертание не было произведено в исполнение, вероятно, потому, что он еще опасался на первых порах в столь важном деле огорчить русских оскорбительным для их народной гордости подражанием польскому установлению[171].

Одни низкого состояния люди не видали от самозванца облегчения в участи своей. Но Лжедимитрий, имея в особенности в виду привязать к себе военных людей, не хотел лишить

их великих выгод, предоставляемых им законами Годунова о крестьянах и холопах. Только несколько месяцев спустя объявлен был боярский приговор, который хотя и утверждал крепостное право владельцев, но, по крайней мере, обуздывал их наклонность к несправедливым притязаниям. По силе сего приговора бежавшие крестьяне возвращались беспрекословно прежним владельцам, кроме покинувших жилища свои в голодные 1602, 1603 и 1604 годы, потому что на родине нечем было им пропитаться. Таковые оставались за теми владельцами, в домах и имениям коих нашли достаточное призрение в нужное время. Также, если крестьянин какого владельца, поступивший в голодные годы к нему в холопы, стал бы избывать холопство под предлогом, что ему в крестьянстве было чем прокормиться, но что его закабалил владелец насильно, то повелевалось разыскивать, записана ли кабала в городе в книге. Если записана, то челобитчик оставался в холопстве по той причине, что не жаловался о насилии при явке кабалы; напротив, не явленным кабалам не позволялось давать веры, и в таком случае холоп обращался по-прежнему в крестьянство. Впрочем, уже введенная в обыкновение пятилетняя давность на отыскание беглых крестьян была утверждена во всей ее силе[172].

Отрешение Иова оставляло праздным первосвятительское место в России. Самозванцу нужно было видеть на оном человека уклонного, который бы согласился сделаться соучастником тайных замыслов его против православия. Выбор его пал на Игнатия, архиепископа Рязанского. Сей пастырь, льстивый и двуязычный грек, был прежде архиепископом Кипрским, но, изгнанный турками, он нашел сперва убежище в Риме, а потом приехал в Россию, где по особенному благоволению царя Бориса поручили ему Рязанскую епархию[173]. В возмездие дому Годуновых за сие благодеяние он первый из святителей выехал в Тулу на сретение самозванцу. Возведенный на патриарший престол, он с робким молчанием царедворца смотрел на все соблазны, коими самозванцу суждено было огорчать правоверных.

Но ни посвящение надежного патриарха, ни какое-либо государственное дело не были тогда для Лжедимитрия предметом главнейших забот. Все внимание его было устремлено на успех начатых им тайных сношений с царицей-инокиней Марфой Федоровной, матерью настоящего царевича Димитрия. Признание ею самозванца за своего сына было для него необходимым условием прочности его воцарения. Подосланным от него людям велено было напомнить царице ожидающие ее почести, а с другой стороны, внушить ей, что если она отважится изобличать его во лжи, то неминуемо обречет на верную погибель не только себя, но и весь свой род[174]. Прельщениями и угрозами увлеченная, царица, наконец, согласилась способствовать обману. Обрадованный самозванец послал к ней в Выксинский монастырь, – звать ее в столицу, – великого мечника, князя Михайлу Васильевича Скопина-Шуйского, с блестящей свитой. Час первого свидания обманщика с мнимой матерью для обеих сторон был трудным испытанием. Осторожность требовала не давать оному свидетелей, но также неблаговидно было бы самозванцу не встречать царицы. Для соглашения сих противоположностей он выехал восемнадцатого июля в село Тайнинское, где по приказанию его был разбит шатер близ большой дороги. Царица одна, введенная в шатер, ожидала в оном царя, который также один вошел к ней. Тут, повторяя ей обещания и угрозы, он уговорил ее выказывать к нему притворную нежность. Оба вышли из шатра, обнимая друг друга к умилению легковерных зрителей, которых собралось великое число. Царица села в карету, а самозванец с обнаженной головой шел возле нее около трех верст, опираясь на подножку кареты[175]. Потом он сел на лошадь и поскакал вперед, дабы встретить ее на пороге царских палат[176]. Впоследствии царица перешла в богато изготовленные для нее покои в девичьем Вознесенском монастыре, где получила царское содержание и была ежедневно посещаема мнимым сыном своим. Через три дня после ее приезда самозванец венчался на царство в Успенском соборе, с обыкновенными обрядами.

Хотя, по-видимому, все споспешествовало Лжедимитрию, однако много еще забот ему предстояло для сокрытия истины. Настоящая мать его, Варвара Отрепьева, родной брат и дядя Смирной-Отрепьев, не обинуясь, всему Галичу объявляли о гнусном обмане. Смирной за сии речи был сослан в Сибирь, но глас природы не заглушался еще в сердце самозванцевом; он не отважился распространить месть свою на родительницу и на единоутробного своего[177], и безнаказанность сих лиц придавала еще более весу их уликам.

Не в одном семействе Отрепьева нашлись смелые поборники правды. Среди самой Москвы явился монах, всенародно удостоверяющий, что давно знает Отрепьева, который учился у него грамоте и жил с ним в одном монастыре, и что сей же именно человек овладел царским престолом под именем Димитрия[178]. Монах был схвачен и тайно умерщвлен в тюрьме.

Сколь ни важны были свидетельства сии, носившие на себе несомненный отпечаток самоотвержения, недоступного для клеветников, со всем тем, происходя от людей незнатных, они мало беспокоили Лжедимитрия, которого гораздо более тревожили разглашения, деланные в столице по наущению князя Василия Ивановича Шуйского. Сей вельможа, более всех прочих убежденный в самозванстве расстриги, мог согласиться признать его за своего государя единственно по необходимости покориться первому порыву всенародного увлечения. Но в сердце своем он не переставал питать надежду, что в скором времени сила истины рассеет чад непонятного предубеждения. Удрученный стыдом и горестью, он вменял себе в обязанность способствовать ожидаемому им спасительному противодействию, в чем мог успеть более всякого другого, потому что имел влияние на московских граждан, которые вообще любили его за его приветливость и уважали в нем необыкновенные способности ума высокого, соединенные с великим богатством и знаменитостью происхождения. Многочисленные приверженцы его стали распространять в народе толки о самозванстве царя. Внушения сии были деланы даже без надлежащей осмотрительности, так что дошло о них до сведения Басманова, который спешил предостеречь Лжедимитрия. Разгласителей схватили и пытали[179]; многих из них разослали по темницам, но двух, более прочих изобличенных в дерзких речах против обладателя престола[180], а именно дворянина Петра Тургенева и мещанина Федора Калачника казнили смертью[181]. Калачник, готовясь положить голову на плаху, с твердостью говорил народу: «Се прияли есте образ антихристов, и поклонитеся посланному от сатаны, и тогда разумеется, егда вси от него погибнете». Но еще не разуверенная чернь ругалась ему и кричала, что поделом погибает клеветник.

Оставалось наказать главного виновника опасной молвы, князя Шуйского. Но муж сей стоял на столь высокой степени в общем мнении, что самозванец для беспрепятственного совершения над ним казни почел необходимым прибегнуть к мерам чрезвычайным, как при постановлении приговора, так и при исполнении оного. Шуйский предстал перед собором, составленным, как в то время водилось только при решении великих земских дел, из духовенства, бояр и выбранных людей всех сословий. Все единогласно признали Шуйского виновным в оскорблении царского величества дерзкой клеветой и приговорили его к отсечению головы[182]. В назначенный для казни день осужденный выведен был на лобное место, которое окружали вооруженные стрельцы и поляки и где уже палач готовил секиру и плаху[183]. На кремлевских стенах и башнях выставлены были также воины с оружием в руках. Народ роился по площади. Бояре Салтыков и Басманов, разъезжая между толпами, читали следующее провозглашение: «Сей великий боярин, князь Василий Шуйский, мне, природному своему государю, царю и великому князю Димитрию Иоанновичу всея России изменяет и рассевает неприличные речи, не хотя меня на государстве царем видети, и встужает с всеми бояры и людьми Московского государства, и с всеми православными христианы; называет меня еретиком, Гришкою Отрепьевым, расстригой, и за то его осудили мы

смертью казнити, да умрет. Ибо сие не мною, не ново уложилось, но отдревле, от прародителей наших, что за измену казнити, не щадя ни дяди, ни брата, ни сродников своих, ни великих бояр». Слушатели, удерживаемые в повиновении присутствием войск, одним унылым молчанием выражали свое негодование. Шуйский не выказывал робости. Когда палач стал раздевать его, то он еще громко воскликнул: «Братья! Умираю за веру христианскую и за вас!» Уже он клал голову на плаху, как вдруг в Спасских воротах раздается крик: «Стой! Стой!» Выбежавший из Кремля немец с царской грамотой в руках объявляет, что царь, по ходатайству поляков, дарует жизнь преступнику. Радость была всеобщая.

На самом деле не полякам Шуйский обязан был своим спасением. Напротив того, многие из них, из самых приближенных к Лжедимитрию, предусматривали большую опасность в помиловании столь важного врага[184]. Но за князя Василия Ивановича явился ходатай, которого предстательства не мог отвергнуть и сам самозванец. Царица-инокиня Марфа, вынужденная притворством своим упрочивать богопротивный обман, томилась душевной тоской; для уменьшения тяготившего ее совесть греха она решилась по крайней мере не допускать до казни знатнейшего свидетеля истины и требовала от мнимого сына своего смягчения жребия несчастного Шуйского[185]. Лжедимитрий не смел противиться ее желанию, но вместе с тем он разгласил, что умилостивился по просьбе поляков, вероятно, чтобы участие царицы в сем деле скрыть от народа, которому действительно могло казаться странным видеть мать, заботящуюся об избавлении злейшего и опаснейшего врага сына своего. Князь Василий Иванович с двумя родными братьями своими, Дмитрием и Иваном, были сосланы в пригороды Галицкие, а имение их отобрано в казну[186].

Представился еще другой случай, где также царица вменила себе в священную обязанность противиться воле самозванца. Тело настоящего царевича Димитрия похоронено было в Угличе в соборной церкви. Сия почесть несовместна была с воцарением мнимого Димитрия, который признал необходимым для себя вырыть тело и похоронить на общем кладбище, как простого поповского сына[187]. Но, не дерзая исполнить сего без соизволения царицы, он просил ее не противиться столь нужному для его спокойствия действию. Царица ужаснулась и решительно отказалась предать на поругание останки милого ее сердцу отрока. Все усилия самозванца, чтобы поколебать ее упорство, были безуспешны, и он вынужденным был отказаться от своего предприятия. Впрочем, одно намерение потревожить прах сына так ожесточило мать, что она стала искать тайного средства важным свидетельством своим изобличить в самозванстве гнусного обманщика. При ней находилась у нее воспитанная молодая лифляндка Розен, взятая в плен ребенком во время Лифляндской войны. Сия девушка вошла в сношение с жившим в Москве шведом, который по убеждению ее поехал в Польшу с поручением царицы известить короля, что похититель московского престола не есть ее сын, хотя она для своей безопасности явно и признала его за такового.

Около того же времени случилось большое смятение в столице. Прибывшие с самозванцем поляки много бесчинствовали, полагаясь на потворство царя. Один из их товарищей, шляхтич Липский, уличенный в преступлении, был схвачен и приговорен к наказанию кнутом[188]. Но когда, по тогдашнему русскому обыкновению, осужденного водили по улицам, поляки бросились отбивать его. Сделалась сильная драка, в коей с обеих сторон было много убитых и раненых. Так как число русских постепенно увеличивалось, то поляки укрылись в занимаемом ими Посольском дворе, который немедленно был окружен несколькими десятками тысяч разъяренных московских обывателей. Все предвещало кровопролитие, еще ужаснее прежнего. Для отвращения сей беды царь послал объявить гнев свой полякам и требовал от них выдачи зачинщиков своевольства, угрожая им в случае дальнейшего упорства приказать подвести пушки для разгромления их убежища. Поляки отвечали, что ожидали более благодарности от того, кого вывезли на плечах своих, и что лучше желают все погиб-

нуть, чем самим выдать на верную смерть кого-либо из своих соотчичей. Тогда Лжедимитрий вторично послал склонять их к оказанию необходимой податливости, представляя им, что только выдачей зачинщиков можно надеяться усмирить мятежную чернь и что, впрочем, он обещает в скором времени возвратить безвредно виновных. Тогда поляки выдали трех товарищей: Дзержбицкого, Щигельского и Шелиборского, коих посадили в тесную темницу. Московские обыватели, получив удовлетворение, коего домогались, разошлись по домам, а на другой день всех трех товарищей отправили обратно к полякам.

Сие происшествие достаточно показывало Лжедимитрию, что нелегко будет подданным его ужиться с приведенными им иноземными гостями. Увлекаясь сродным ему самонадеянием, он возмечтал, что может обойтись и без иностранной стражи и вверить охранение своей особы одним русским, коих надеялся совершенно привлечь к себе щедротами своими и кротостью правления. Вследствие сего он оставил у себя на службе только роту пана Доморацкого, прежде бывшую его собственной, и распустил все прочие польские хоругви[189], заплатив с каждого коня гусарам по сорок злотых, а пятигорцам по тридцать семь злотых[190] (то же нынешних серебряных рублей). Но немногие из поляков сохранили эти деньги. Прочие, получив по тогдашнему времени весьма значительное жалованье, еще на Москве все промотали, пропили или проиграли в кости и воротились ни с чем в свое отечество, жалуясь на скупость царя, хотя сами были виновниками своей нищеты.

Самозванец, имея в виду задобрить русских милосердием необычайным, решился прекратить ссылку Шуйских, даже прежде нежели они достигли назначенных для жительства их мест. Им возвратили взятое у них имение и все прежние чины и почести[191]. Послабление, опасное для самозванца, который не рассудил, что безвредно для себя миловать преступников принадлежит одним законным государям и составляет исключительное преимущество их священного права.

По крайней мере, если Лжедимитрий полагал утвердить престол свой на любви народной, должно было ему тщательно оберегаться своего легкомыслия и в особенности стараться не выказывать ни отвращения к обычаям русским, ни наклонности к польским. Напротив того, он везде и всегда пренебрегал отечественными обрядами и упражнения и потехи свои устраивал на иноземный образец. Русские слышали с омерзением, что у него во время стола гремела музыка, что он почти всегда одевался по-польски, ел телятину, не молился иконам, садясь за обед, и не умывал рук по окончании оного[192]. Удивлялись также тому, что он не ходил в баню по субботам и не спал после обеда, а вместо того выходил из дворца, сам-друг, для посещения аптекарей, серебряников или каких других ремесленников. Самое удальство его мало нравилось. Он упражнялся в пляске, живо вскакивал на бешеных лошадей, бил сам медведей. Все сие было неприличным в глазах людей, привыкших к степенной величавости прежних царей, которые не иначе переходили из одного покоя в другой, как поддерживаемые под руки кем-либо из окружающих их многочисленных царедворцев, а когда садились на коня, то всегда два боярина подносили скамью, чтобы облегчить труд государя. Неудивительно, что следствием столь резкой перемены было общее охлаждение к Лжедимитрию и что, не усматривая в нем ничего, означающего царское происхождение, стали называть его польским *свистуном.*

Впрочем, не одна наружность была позорна в самозванце. Он и в поступках и действиях большой важности оказывался безрассудным и развратным до бесконечности. К величайшему соблазну своих подданных он приказал отвести иезуитам, для свободного священнодействия по римскому обряду, обширный двор поблизости дворца[193]. В Боярской думе, где заседал почти ежедневно, хотя и отличался некоторым остроумием, но вместе с тем приводил в сильное негодование бояр беспрестанными упреками за их невежество и советами учиться у иноземцев[194]. Вообще с вельможами он обходился неосмотрительно:

иногда дружился с ними без надлежащего приличия, зато часто ругал их и бивал палкой, и то и другое к явному нарушению царского достоинства. Любострастие его также не знало никаких границ; он бесчестил даже юных монахинь[195] и в довершение неистовств своих взял в наложницы несчастную жертву своего властолюбия, царевну Ксению[196]. Еще справедливо обвиняли его в чрезмерной расточительности. Издержав в первые три месяца своего правления до семи с половиной миллионов рублей[197] (до двадцати пяти миллионов нынешних серебряных рублей), он не переставал сыпать деньгами, и это не для государственных нужд, а для удовлетворения собственных прихотей; тратился на музыкантов и других угодных ему тунеядцев и сам любил роскошь необычайную[198]. Как будто пренебрегая прежним жилищем царей, он выстроил в Кремле, на берегу Москвы-реки, деревянный дворец, великолепно убранный, насупротив коего выставил огромного медного Цербера с бряцающими челюстями. Сие изображение адского чудовища ужасало набожных россиян и усилило уже начинавшее распространяться в нижних состояниях мнение, что престолом овладел чародей.

К довершению безрассудных действий своих самозванец готовился исполнить данное им Мнишеку обещание вступить в брак с дочерью его Мариной, хотя легко мог предвидеть, что выбором невесты иноверной и принадлежащей к народу, всегда враждебному России, он крайне восстановит против себя своих подданных. Но, не переставая пренебрегать мнением россиян, он назначил посланником в Польшу надворного казначея Афанасия Власьева для торжественного испрошения согласия короля на обручение его с Мариной и для немедленного совершения сего обручения по силе данного ему полномочия.

Прежде еще отъезда Власьева из Москвы прибыл туда посланником от короля Сигизмунда секретарь его, Александр Гонсевский, староста Велижский. Кроме поздравления Лжедимитрия с восшествием на престол и уведомления о намерении короля вступить в брак с австрийской эрцгерцогиней Констанцией, Гонсевский имел еще поручение уведомить самозванца о пронесшемся в Польше слухе, что Борис Годунов еще жив и находится в Англии. Обещая всякое нужное содействие Польши для внутреннего успокоения России, он требовал взаимности со стороны царя в отношении к Польше и просил не дружиться со Швецией и предоставить полякам такой же свободный торг по всей России, каковым пользуются русские в Польше. Посланнику отвечали, что слух о Годунове не имеет никакой основательности, что польским купцам будет свободный пропуск по всему государству, но что нельзя еще вполне удовлетворить желанию короля касательно Швеции, потому что, хотя царь и гнушается преступными действиями похитителя шведского престола, однако не может приступить к настоящему разрыву с ним, пока не уверится в истинной приязни к себе короля Сигизмунда, который, уменьшая титул государя Российского, подавал повод сомневаться в своем доброжелательстве. В самом деле, король в письме своем не называл Лжедимитрия царем, а только господарем и великим князем[199]. Сие тем более оскорбляло самозванца, что даже титул царский казался не довольно пышным для сего счастьем взлелеянного пришельца. Он сам себя называл непобедимым цесарем и домогался сего именования и от иностранных дворов.

Вслед за Гонсевским приехал также в Москву с поздравлением от папы Павла V посланник, граф Александр Рангони, племянник папского нунция в Польше, первоначально столь много содействовавшего успеху предприятия Лжедимитриева. Необычайная доверенность короля Сигизмунда к его дяде была уже довольно известна самозванцу, и потому он решился, не обинуясь, объясниться с графом по предмету сношений своих с Польшей и просить его тайно представить королю, что, несмотря на возникшие между ими взаимные неудовольствия, он никогда не забудет прежние Сигизмундовы милости, что король, со своей стороны, не должен требовать условленной уступки городов до тех пор, пока не утвердится

власть нового царя достаточно для безопасного и беспрепятственного исполнения сей статьи, неминуемо долженствующей огорчить россиян, и, наконец, что хотя он и помышления не имеет воевать с Польшей за титул, но никогда не откажется от следующей ему почести и будет ожидать справедливого удовлетворения от дружеского к себе расположения короля[200].

Между тем Власьев, уже отправившийся в Польшу, продолжал путь свой и, прибыв в Краков тридцатого октября, остановился в доме у воеводы Сандомирского[201]. Четвертого ноября он имел торжественную аудиенцию у короля, коему, вручив грамоту самозванцеву, свидетельствовал о желании государя своего вступить в тесный союз с Польшей, в особенности против турок; на второй же аудиенции, данной ему четыре дня спустя, он просил Сигизмунда позволить брак Лжедимитрия с Мариной Мнишек, на что король тотчас же изъявил свое согласие.

Но так как в то же время прибыл в Краков посланный из Москвы от царицы Марфы швед, то Сигизмунд не утаил от Мнишека привезенное им известие об отречении самой царицы от мнимого сына[202]. Несмотря на важность сего свидетельства, честолюбивый воевода пренебрег оным и, напротив того, решился поспешить обручением своей дочери. По приезде Власьева Марины еще не было в Кракове. Она с матерью своей прибыла туда девятого ноября, а двенадцатого совершилось обручение с большой пышностью, в присутствии самого короля[203]. Священнодействовал по латинскому обряду кардинал Мациовский, епископ Краковский[204]. При сем случае Власьев, по происхождению своему человек не знатный, не умел сохранить достоинство высокого сана, в который был облечен по прихоти или по доверию самозванца, и оказывал подобострастие, простиравшееся до грубейшей простоты. Так, например, на обычный вопрос кардинала, не давал ли прежде царь обещания жениться иной невесте, он отвечал: «А мне как знать? О том не имею никакого поручения». Только по настоянию прислужников своих решился примолвить: «Если бы обещал другой невесте, то не слал бы меня сюда». Когда дошло до перемены колец, то посланник вынул из малого ларчика перстень с толстым алмазом, величиной с хорошую вишню, и подал кардиналу, который надел оный Марине на палец. Кардинал хотел также невестин перстень надеть на палец представляющего лицо Димитрия посланника. Власьев не только не дозволил сего, но даже отказался принять перстень в голые руки, а просил епископа опустить оный в тот же ларчик, в котором принесен был царский алмаз. Продолжая причудничать, посланник, когда по приглашению кардинала должен был взять руку Марины, хотел непременно обернуть свою в чистый платок, и не без труда успели уверить его, что обряд требовал, чтобы он с невестой стоял рука в руку. По совершении обручения посланник кланялся в землю перед невестой[205]. Богатство поднесенных им при сем случае даров изумило самых роскошных поляков[206].

После обручения воевода Сандомирский угощал всех присутствующих великолепным обедом[207]. За особым столом сели король, невеста, Сигизмундова сестра принцесса шведская, королевич Владислав, русский посланник, папский нунций и кардинал Мациовский. Прежде кушанья всем им подали воды для умовения рук; один Власьев не хотел умыться. Также заметили, что он ничего не ел, кроме хлеба с солью, и тщательно оберегался, чтобы платье его не касалось платья сидевшей подле него Марины. Напрасно король посылал уговаривать его, чтобы ел; он отозвался, что непристойно холопу есть при таких высоких особах и что ему и то велика честь смотреть, как они кушают. За обедом последовали пляски, которые начал сам король с невестой. Наконец, воевода Сандомирский приказал дочери своей преклонить колена перед королем и благодарить его за все его милости. Сигизмунд, встав со своего места и скинув шапку, поднял Марину. Потом, надев опять шапку, говорил ей следующую речь: «Ваша милость отъезжает в чужую землю, к иноземному народу, к обрученному жениху, который, по Божьей воле и по нашей милости, достиг тамошнего престола! Когда,

ваша милость, будете там, прошу вас, ради Бога, не оставляйте умножать и укреплять хвалу Божию и мир с нами и с той державой, в которой вы родились и в которой оставляете отца, братьев, сестер и родственников своих. Ваша милость и будущему супругу своему напоминайте, чтобы он не забывал нашу благосклонность и наше содействие, исполнял данные нам и нашей державе обещания, утвержденные его присягой, и не только во всю жизнь оказывал бы нам благорасположение и дружелюбство, но даже передал бы чувства сии и могущим родиться у него детям». Невеста отвечала: «Стану молить Бога, дабы будущий господин, мой супруг, умел угодить Богу и умножать Его хвалу и служение и вместе с тем оказывал королю, вашей милости, и державе польской должную признательность за излиянные на него милости и одолжения…» Тут слезы прервали ее слова. Кардинал Мациовский продолжал благодарить короля от имени ее и воеводы Сандомирского.

На другой день был отпуск посланнику. Канцлер литовский объявил ему, что король через него поздравляет царя с благополучным обручением, а что в рассуждении союза против турок нужно будет по дальнейшим сношениям обстоятельнее уговориться. Власьев, несмотря на свое невежество и на преданность свою Лжедимитрию, был русским в сердце и ненавидел поляков. Так как при отпуске его канцлер назвал государя российского только великим князем, то Власьев не упустил жаловаться на сие. Также он оскорблялся и тем, что накануне невеста царская кланялась в землю королю. Ему отвечали, что, пока Марина не покинет польского края, он не перестанет быть подданной короля.

Двадцать третьего ноября Марина отправилась в Промник, замок, лежащий в пяти верстах от Кракова, где должна была оставаться, пока отец ее не устроит дел своих в Кракове. Напрасно Власьев увещевал Мнишека не медлить отъездом своим в Россию; воевода отзывался неимением денег на подъем и на расплату с многочисленными заимодавцами своими. Хотя посланник имел повеление сам провожать невесту до Москвы, однако для удобности в переезде уговорились, чтобы он один отправился вперед и ожидал Мнишеков в Слониме, куда они обещали прибыть тотчас по получении ожидаемых ими от самозванца пособий. На первый случай Власьев решился сам ему дать четырнадцать тысяч польских злотых (то же нынешних серебряных рублей) да сукон и мехов, взятых у русских купцов в Люблине, на двенадцать тысяч четыреста злотых[208].

Со своей стороны, Лжедимитрий еще до получения известия о совершении обручения послал в Краков с секретарем своим, Яном Бучинским, двести тысяч злотых для вручения их воеводе Сандомирскому[209]. Кажется, что расстрига, несмотря на ветреность свою, сам постигал, что благоразумие требовало, чтобы Марина, по прибытии своем в Москву, хотя бы по наружности сообразовалась с обычаями и церковными обрядами русской земли. В данном Бучинскому наказе он предписывал ему настаивать, чтобы невеста его не убирала себе волос и чтобы папский нунций дозволил ей в день венчания принять причастие от патриарха, поститься в среду вместо субботы и ходить иногда в греческую церковь, что не могло ей служить препятствием исполнять во внутренности покоев своих все обряды исповедуемой ею латинской веры[210].

Бучинский, прибывший в Краков двадцать четвертого декабря, не успел склонить Рангони на просимую самозванцем снисходительность. Хотя иезуиты, всегда руководимые светской мудростью, и охотно допускают единоверцев своих к святохульному лицемерию, когда сие оказывается для них нужным или выгодным, но, вероятно, в сем случае они почли необходимым вынудить Лжедимитрия явным действием сделать первый приступ к обещанной им перемене веры в своем государстве и, таким образом, снова возбудить видимо охладевшую в нем ревность к папежству. В самом деле, расстрига, принявший римский закон не по убеждению, а единственно в угодность лиц, от коих зависела тогда его участь, не торопился исполнением опасного предприятия. Может быть, видя искреннюю и глубокую преданность

русских к старинному своему исповеданию, решился бы он и совсем оставить их при оном, но боялся оскорбить короля Сигизмунда и лишить престол свой надежнейшей опоры, которую находил только в содействии Польши. По крайней мере, искал выиграть время и на все подстрекательства римского духовенства отзывался, что такое великое дело не может быть совершено без предварительных приготовлений. Недовольные сей медлительностью иезуиты склонили нунция отвечать самозванцу, что он должен непременно, силой самодержавной власти своей, оградить нареченную супругу от всякого принуждения по предмету исполнения обрядов исповедуемой ею веры[211].

Лжедимитрий, известившись об обручении Марины, послал с благодарительными письмами к королю и к Мнишку гонца, Ивана Безобразова, который, прибыв в Краков четвертого января, начал исполнение главного своего поручения[212]. Но гораздо важнейшее дело было еще тайно вверено Безобразову. Он пользовался всей доверенностью князя Шуйского, по совету коего самозванец отправил его в Польшу. Шуйский, полагаясь на его благоразумие и на приверженность его к себе, приказал ему довести до сведения короля о неудовольствии бояр против самозванца. Вследствие сего Безобразов просил тайно переговорить с канцлером литовским Сапегой, но король нашел, что важность сана, занимаемого Сапегой, слишком обращала на него общее внимание и что потому трудно было бы скрыть свидание с ним от Бучинского и русских чиновников, в Кракове находящихся[213]. Уговорились, чтобы вместо Сапеги гонец открылся воротившемуся из Москвы Гонсевскому. Безобразов объявил ему, что Шуйские и Голицыны негодуют на короля, давшего им в государи человека нрава легкомысленного и свойств низких, который, предаваясь суровости, распутству и расточительности, как будто сам старается выказать себя недостойным царского венца; что они решились изыскивать средства избавиться от него и что, наконец, он так им несносным казался, что лучше бы хотели вместо него видеть на московском престоле Сигизмундова сына, королевича Владислава. Сие неожиданное предложение породило, на пагубу России, в уме Сигизмунда мысль со временем воспользоваться оным для удовлетворения врожденного в нем тщеславия. Однако он не посмел еще, по первому вызову, войти в дальнейшие сношения по сему предмету с русскими вельможами и потому приказал отвечать им, что прискорбно ему слышать, как неистово ведет себя тот, которого дотоле он почитал настоящим Димитрием, что он нисколько не намерен препятствовать им действовать против него, как заблагорассудят, и что, наконец, касательно сына своего, так как он сам имеет за правило не увлекаться властолюбием, то желает, чтобы таковой же умеренностью руководствовался и Владислав, предавая, впрочем, будущность воле Божией. Из сего двумысленного отзыва Безобразов заключить должен был, что, по крайней мере, Сигизмунд не будет стоять за самозванца – обстоятельство, важное для успеха в замышляемом заговоре.

Хотя король, Сапега и Гонсевский не нарушили данного ими обещания не оглашать вверенной им тайны, но, как сие довольно обыкновенно бывает в делах такого рода, слабый и неопределительный отголосок русских жалоб раздался по Кракову и дошел даже до Бучинского, который писал Лжедимитрию, что худая молва разносится о нем в Польше, что гордые паны сильно негодуют на него за домогательства его о новом титуле и что один из них, а именно воевода Познанский, не обинуясь, говорил о смеходостойной надменности, с каковой он сам себя называл *непобедимым*, и также о том, что в самой Москве уже *догадываются, что он за человек?*[214].

Казалось, что знатная сумма денег, привезенная Бучинским Мнишеку, не оставляла никакого предлога воеводе еще мешкать своим отъездом в Россию. Действительно, Марина выехала из Промника одиннадцатого января 1606 года, но, вместо того, чтобы направиться прямым путем, через Сандомир, Люблин и Брест к Слониму, где ее ожидал Власьев, она поехала с отцом своим в имение его Самбор[215]. Открылись обоюдные неудовольствия. Само-

званец оскорблялся, что невеста его не отвечает на его письма и не оказывает ни малейшей готовности поспешать к нему[216]. Мнишек, со своей стороны, жаловался, что присланных денег недостаточно ему для уплаты долгов своих, и выговаривал расстриге, что держит у себя в наложницах царевну Ксению[217]. По последнему предмету Лжедимитрий тем охотнее согласился сделать ему должное удовлетворение, что он скучал уже Ксенией. Постриженная под именем Ольги, она была отправлена в монастырь, где печальная жизнь ее продолжалась еще шестнадцать лет. Без невольного содрогания нельзя помыслить об ужасных превратностях ее судьбы[218]. Одаренная от природы необычайной красотой и привлекательными свойствами ума и сердца, она цвела беззаботно под сенью родительской любви. Все предвещало ей блистательную будущность. Уже попечительный Борис располагался навсегда упрочить ее благоденствие приисканием для нее достойного жениха. Выбор его пал на юного герцога Иоанна, родного брата Христиана IV, короля Датского. Герцог, сановитый и радушный витязь, понравился царевне, которая весело ожидала брака. Но не на радость обречена была Ксения! Первым испытанием была для нее болезнь и кончина жениха. За сим ударом рока следовали еще лютейшие. Пережив гибель отца, матери и брата, прелестная дева вынуждена была позорно удовлетворять преступным желаниям убийцы милых сердцу ее ближних. Кто может исчислить душевные терзания ее в объятиях злодея! К довершению ее бедствий, смерть не спешила положить конец ее страданиям, и, осужденная влачить жизнь свою еще многие годы, она томилась воспоминаниями о постыдной и горестной участи своей. Неисповедимый гнев Божий страшно разражался над несчастным семейством злодейски властолюбивого Бориса.

Однако Мнишек все еще оставался в Самборе, или действительно занимаясь необходимыми приготовлениями для снаряжения огромной своей свиты, или устрашенный и до него доходившим отголоском московских толков. Власьев, более месяца бесполезно ожидавший его с невестой в Слониме, решился, наконец, сам ехать к нему в Самбор, дабы лично объяснить, что дальнейшее мешканье, раздражив самозванца, может быть вредно для собственных его выгод[219]. На сей раз его увещания не остались безуспешными. Марина выехала из Самбора двадцатого февраля в сопровождении отца, брата, Власьева, Бучинского и множества родных и знакомых своих.

Хотя весенняя распутица и трудность продовольствия для многочисленной свиты всех сих панов представляли большие препятствия в пути, однако огромный обоз подвигался довольно поспешно по направлению Люблина, Слонима, Минска и Орши. Дорогой Мнишек получил еще из России тридцать пять тысяч злотых (то же нынешних серебряных рублей), да, кроме того, самозванец прислал Марине пять тысяч червонцев. Вслед за невестой король Сигизмунд отправил также в Москву великих послов своих, Николая Олесницкого, кастеляна Малагосского, и бывшего уже в России Александра Гонсевского, старосту Велижского[220].

Пока все сие происходило в Польше, безрассудность Лжедимитрия все более и более умножала негодование русских и подозрения их насчет его самозванства. С беспокойством замечали, что он, посещая другие церкви и обители, никогда не бывал в Чудове монастыре[221], к коему мнимые предки его имели всегда особенное благоговение. Также шептали между собой, что Пафнутий, митрополит Крутицкий, бывший архимандритом в Чудове, когда монашествовал там Отрепьев, хорошо узнал под царским венцом юного инока своего, но молчал единственно от страха.

Лжедимитрий, извещенный о неблагоприятном для него народном говоре и соображая оный с полученными им предостережениями из Польши от Мнишека и Бучинского, признал необходимым отложить прежнюю доверчивость свою. Не смея уже полагаться на любовь подданных, он вздумал для удержания их в повиновении усилить власть свою особенной

преданностью к себе военных людей. В сем намерении он стал отменно ласкать и награждать стрельцов, в Москве находящихся. Но и сего не почитал он достаточным для личной безопасности своей. Стрельцы были русские и потому, несмотря на все милости его, могли быть увлечены общим мнением своих соотечественников. Еще надежнее ему казалось окружить себя иноземными телохранителями[222]. В январе 1606 года он набрал триста немцев и разделил их на три сотни, из коих одна стрелковая была под начальством француза Маржерета; другие две состояли из алебардщиков и имели начальниками лифляндца Кнутсена и шотландца Вандемана. Все они получали большое жалованье, были богато одеты и сменялись через сутки, так что ежедневно половина из них находилась безотлучно при Лжедимитрии. Даже когда самозванец ездил по улицам, то и тут всегда являлся окруженным сими иноземными стражами, которые не допускали к нему и самих русских бояр, вынужденных следовать за ними[223].

Расстрига, полагая, что совершенно обезопасил свою особу, почти ни о чем более не стал помышлять, как о веселье и забавах. Во дворце не преставали пляски, музыка и игра в зернь. Всякий день должен был казаться праздничным. В угождение ему не только вельможи, но даже и простолюдины вынуждены были не по состоянию своему тратиться на наряды. Никто в скромной одежде к нему доступа не имел; даже и на улицах он не любил встречать людей не в богатых нарядах. Самозванец думал, что наружная веселость означает благоденствие народное.

Легкомыслие его, по крайней мере, не всегда оказывалось злонравным[224]. Годунов, во все время своего могущества, не дозволял жениться князьям Федору Ивановичу Мстиславскому и Василию Ивановичу Шуйскому, дабы не умножать уважения, которым они пользовались в народе и которое и без того уже казалось ему несколько опасным. Князья сии, хотя и в преклонных летах, скучали своим одиночеством. Они просили самозванца не препятствовать им вступить в брак. Лжедимитрий тем охотнее согласился удовлетворить их желанию, что при сем открывался новый случай к любимым им пиршествам. Князь Мстиславский взял в супружество двоюродную сестру царицы Марфы, а князь Шуйский помолвил на княжне Буйносовой, также свойственнице Нагих.

Утопая в забавах, самозванец не менее того помышлял и о воинской славе. Успех борьбы его с Борисом, хотя единственно основанный на измене, так усилил врожденную в нем самонадеянность, что он действительно почитал себя непобедимым и хотел всему свету выказать свое богатырство. В то время турецкая империя была еще во всей полноте своего могущества, и сношения ее с Россией, хотя и не совсем приязненные, не подавали, однако, повода к явному разрыву. Несмотря на сие, Лжедимитрий, из одного самохвальства, готовился объявить войну оттоманской Порте, не жалея важных пожертвований, коим без нужды подвергал свое государство. Разосланы были повеления для сбора, по весне, значительного войска у Ельца, куда уже везли множество пушек[225]. Другая рать, плавная, назначалась для спуска по Дону. Вместе с тем Лжедимитрий искал содействия прочих держав, соседственных с турками. Порта уже вела войну с шахом Персидским за Грузию и с римским императором за Венгрию и Семиградскую землю; но император оказывал большую наклонность к примирению. Лжедимитрий назначил посольство к шаху, чтобы уговориться с ним об обоюдных действиях против общего неприятеля, а с другой стороны, он писал к папе, прося его ходатайства не только на удержание императора от преждевременного мира, но даже на побуждение его к заключению тесного наступательного союза с Польшей и Россией для подавления вечного врага христианства[226]. Но польский король уклонился от участия в сем предприятии под предлогом, что по врожденному отвращению нелегко полякам дружиться с немцами и что невероятно, чтобы все имперские чины согласились принять обязательство не только совокупными силами поддерживать императора, но даже ни в каком случае отдельно

от Польши не мириться с Портой, без какового заверения Польша подверглась бы опасности быть оставленной на жертву туркам. Папский нунций Рангони, извещая самозванца о сем Сигизмундовом отзыве, писал к нему, что в сих обстоятельствах папа находит полезным ограничиться обращением русских и польских сил на истребление крымских татар, чем, так сказать, обрежутся крылья у Порты и, следственно, нанесется ей сильный удар, с соблюдением прямых выгод обеих участвующих в сем подвиге государств, которым не представлялось другого средства для обезопасения навсегда пределов своих от беспрестанных хищнических нападений гнусно беспокойных соседей сих. В сем же смысле Рангони объяснялся и с поляками на собранном в Кракове сейме. Должно признаться, что папское предложение было основано на благоразумных и дальновидных соображениях, но оно, кажется, не понравилось расстриге, который в затеваемом им предприятии искал не настоящих выгод России, но выказывания на обширном поприще своих ратных качеств.

Намерение его было начать поход взятием Азова. Дабы ознакомить главных русских военачальников с осадным искусством, он приказал обвести ледяной крепостью Вязюмский монастырь, лежащий в тридцати семи верстах от Москвы, и прибыл туда с немецкими телохранителями, двумя отрядами польской конницы и всеми боярами и знатными чиновниками русскими[227]. Самозванец сам повел немцев на приступ. С обеих сторон снежные комья должны были заменить оружие; но немцы, избалованные всегда оказываемой им Лжедимитрием потачкой, превратили потеху в кровавую драку. Они вместе со снегом стали бросать в русских каменьями и переранили многих бояр. При столь неравном бое нетрудно было одолеть защитников крепости. Расстрига первый ворвался в оную и воскликнул: «Дай Бог взять со временем таким же образом и Азов!» Подали всем пива, меду и вина, а между тем самозванец велел готовиться к продолжению ратной потехи, но ему донесли, что русские, ожесточенные вероломством немцем, запасаются для отмщения длинными ножами. Устрашенный царь приказал прекратить опасную игру и возвратиться в Москву.

Пренебрегая очевидными признаками народного к себе охлаждения, Лжедимитрий как будто умышленно изыскивал новые средства к возбуждению против себя всех сословий. Самое много в России тогда уважаемое духовенство не избегло его притеснений, сопряженных с явным и оскорбительным нарушением прав собственности. Арбатские и Чертольские священники были выгнаны из своих домов для помещения в оных немецких телохранителей, которых самозванец хотел иметь даже и вне службы поблизости Кремля. Но сим частным угнетением духовных лиц не ограничился Лжедимитрий. На приготовления к замышленному им походу требовались издержки, для коих уже недоставало беспутно истощенной им царской казны. Для пополнения оной сперва он занимал безвозвратно деньги в богатых монастырях и наконец решился захватить монастырские имения[228]. По приказанию его все обители были осмотрены, и составлены ведомости об их доходах и о ценности их вотчин, из коих за ними оставлены только необходимые для содержания монахов, все прочие отобраны в казну, а доходы с них обращены на жалованье собирающемуся войску.

Меры сии, совершенно противные духу времени, умножали раздражение умов против самозванца и придавали новый вес разносившейся о нем худой молве. Лжедимитрий, уже отложивший прежнее милосердие, тайно, но жестоко наказывал тех, кои называли его расстригой. Многих из них заключали в темницы; других же топили в ночное время[229]. Но беспрестанно являлись новые обличители, которые, с бесстрастием повторяя речи прежних, волновали народ, указывая в особенности на наклонность самозванцеву к пренебрежению церковных обрядов и прав духовенства. Даже среди самих стрельцов, весьма им ласкаемых, нашлись люди, которые порицали его в разорении православной веры. Один из их товарищей донес о том Басманову, а Басманов самому Лжедимитрию, который, призвав во дворец стрельцов всех приказов, поставил перед ними обвиняемых, числом семь человек,

и жаловался на их дерзновение. Тогда стрелецкий голова Григорий Микулин, подученный самозванцем, воскликнул: «Освободи, государь, мне, я у тех твоих государевых изменников не только что головы поскусаю, а черева из них своими зубами повытаскаю»[230]. Сказав сие, Микулин мигнул стрельцам, которые в доказательство своей преданности бросились на несчастных и всех семерых изрубили на куски. За сей достойный палача подвиг Микулин был пожалован в думные дворяне.

В то же время подвергнулся опале простодушный слепец, царь Симеон. Сей татарин по роду был русский по сердцу и по духовному убеждению. Благодарность к самозванцу, воротившему его из ссылки, заглушалась в нем омерзением, внушаемым ему отступлениями Лжедимитрия от обрядов церковных и светских русского народа. Он в беседах своих увещевал посещавших его не предаваться папежским новизнам и крепко стоять за православие. Разгневанный самозванец сослал его в Кириллов монастырь, где он был пострижен под именем Стефана[231].

Строгости сии не удерживали ревнителей о вере, которые, по примеру первых страдальцев за правду, смело проповедовали оную. Замечательнейшим из них явился дьяк Тимофей Осипов; сей муж, по добродетели своей всеми уважаемый, готовясь на отважное действие, говел и причастился Святых Таин, потом пошел во дворец и, допущенный до самозванца, всенародно воскликнул: «Ты воистину Гришка Отрепьев, расстрига, а не непобедимый цесарь, ни царев сын Димитрий, но греху раб и еретик»[232]. Лжедимитрий, пылая яростью, приказал немедленно умертвить Осипова.

Расположение умов было уже так неприязненно для самозванца, что не только смелые страстотерпцы, но даже самые уклонные царедворцы как бы напрашивались на гнев его. Вернейшим признаком близкого падения правителей бывает то, когда заслуженная от них опала возвышает людей в общем мнении и делается предметом желаний честолюбцев. Думный дворянин Михайло Игнатьевич Татищев всегда считался преданнейшим из слуг Лжедимитрия, но и он после умерщвления стрельцов совершенно переменил свое обхождение с ним и стал оказывать ему противность[233]. Вскоре представился Татищеву случай пререканием своим выставить самозванцеву безрассудность с весьма невыгодной стороны. За обеденным столом, коим в четверг шестой недели Великого поста расстрига угощал многих знатных особ, подали жареную телятину. Князь Василий Иванович Шуйский, который также сам старался давать возможную гласность неприличным поступкам Лжедимитрия, сказал ему, что есть мясо в пост противно церковному правилу и что, кроме того, русские во всякое время гнушаются телячьим мясом. Так как самозванец принялся возражать Шуйскому, то Татищев заступился за князя и говорил так дерзко, что выведенный из терпения Лжедимитрий приказал выгнать его и даже намеревался сослать на Вятку. Но Басманов, ежечасно старавшийся исправлять по возможности ошибки Лжедимитрия, представил ему, что наказание Татищева неминуемо будет принято русскими в виде нового опыта гонений на приверженцев к уставам православной церкви и к обычаям народной старины. На сей раз самозванец послушался его, и в день праздника Пасхи Татищев получил прощение.

Хотя происшествия сии тайно волновали столицу, но по наружности она пребывала спокойной, как и большая часть государства, кроме восточных областей оного, где открылись важные неустройства. Терские казаки, возбужденные примером товарищей своих, донцов, получивших много добычи во время восстания своего за Лжедимитрия, вздумали также искать счастья в грабительстве, в большом размере произведенном. Сначала думали они идти на Куру-реку громить турецких подданных, а если удачи тут не будет, то предложить услуги свои персидскому шаху Аббасу[234]. Но вскоре мысли их получили другое направление. Мутившие их зачинщики говорили: «Государь нас хотел пожаловати, да лихи бояре, переводят жалованье бояря, да не дадут жалованья»[235]. Следствием сих наущений было, что

триста удалейших казаков под начальством атамана Федора Бодырина условились между собой дать себе собственного государя, именем коего они надеялись придать своим бесчинствам некоторый вид законности в глазах простоумной черни. Для исполнения сего новое самозванство казалось им вернейшим орудием, и потому они стали разглашать, что в 1592 году царица Ирина родила сына Петра, но что Годунов, коего властолюбивые замыслы расстраивались появлением законного наследника престола, подменил царевича девочкой Феодосией, вскоре после того скончавшейся. Мятежники несколько времени колебались в выборе лица, долженствующего представлять мнимого царевича. Два молодых казацких товарища, астраханец Дмитрий и муромец Илья, были признаны способными к сему делу. Но Дмитрий отстранил от себя опасную почесть, отзываясь, что, так как он не бывал никогда в Москве, то и не имеет никакого понятия ни о тамошних делах, ни о царских обычаях. Уважая сии причины, общим приговором положили Илье быть царевичем. Сей юноша, уже с младенчества вовлеченный в жизнь предприимчивую и странствующую, был незаконнорожденный сын муромского жителя Ивана Коровина. После смерти его отца и матери нижегородский купец Грозилников взял его к себе в Нижний в сидельцы. У Грозилникова он оставался три года, в течение которого времени был посылаем к Москву и жил там пять месяцев. После того он несколько лет находился в струговых батраках на Волге, Каме и Вятке, между Нижним, Астраханью и Хлыновым, в 1603 году ходил в казаках до Тарков при войске окольничего Бутурлина, посланного против шамхала Кумыцкого. В Тарках он нанялся в стрельцы на место заболевшего племянника одного стрелецкого пятидесятника. В следующем году, по возвращении в Терский город из сего похода, для россиян и их вождя столь же славного, сколь и пагубного, Илья вошел в услужение к Григорию Елагину, у которого и зимовал. Летом же он поехал в Астрахань и там опять вступил в казаки, отправился на Терек в отряде казачьего головы Афанасия Андреева. Все сии похождения ясно показывают, что Илье от роду не могло быть менее двадцати лет, а мнимому царевичу еще не минуло бы и четырнадцати, но сия летосчислительная несообразность не остановила Бодырина и казаков, которые отвезли царевича своего к казачьему атаману Гавриле Пану, живущему в городке на Быстрой, поблизости Терского города. Терский воевода Петр Головин, известившись о появлении сего нового самозванца, послал приглашать казаков, чтобы отослали его к нему в город, но казаки не выдали его и, напротив того, немедленно удалились, спустившись на стругах до моря, где остановились на острове, лежащем против устья Терека. Тут к первым тремстам мятежникам пристали и все прочие терские казаки, съехавшиеся на остров из юрт своих. Напрасно воевода Головин увещевал их не обнажать границы и оставить, по крайней мере, половину казаков на Тереке; они не послушались и все, числом до четырех тысяч, направились к Астрахани. Так как их не впустили в сей город, то они, миновав оный, поплыли вверх по Волге, упражняясь в разбойничестве. В особенности много претерпели от них купцы, торгующие через Астрахань с Персией, так что добычу их ценили в триста тысяч рублей (миллион нынешних серебряных). Лжедимитрий с беспокойством рассчитывал, что появление нового обманщика может поселить недоверие к прежнему, и посему почитал необходимым немедленно искоренить соперника. Но самозванец не посмел открыто действовать против самозванца. Расстрига прибегнул к лукавству: он послал Третьяка Юрлова звать царевича в столицу и объявить ему, что приказано взять нужные меры для обеспечения его продовольствия на пути. Юрлов застал его в Самаре. Безрассудные казаки поверили, что Отрепьев готов поделиться престолом с мнимым племянником своим, и спешили вверх по Волге к Москве.

В сие время столица находилась в ожидании приезда царской невесты. Восьмого апреля Марина вступила в пределы России и на мосту ручья, образующего границу, была встречена четырьмя русскими чиновниками[236]. Хотя многие из сопровождавших ее польских панов воротились с дороги, устрашенные весенним распутьем, однако в свите ее было

еще более двух тысяч по большей части вооруженных людей, что представляло вид довольно значительного воинского отряда[237]. Не доезжая Смоленска, в деревне Лубне, Марина была приветствована давно ожидавшими ее в Смоленске боярином князем Василием Михайловичем Рубцом-Мосальским и царицыным свойственником Михайлом Александровичем Нагим. С сими сановниками Лжедимитрий прислал невесте своей пятьдесят четыре белые лошади с бархатными шорами и три кареты, обитые внутри соболями. Царица села в одну карету, запряженную двенадцатью лошадьми; другая карета с десятью лошадьми следовала за ней, а в третьей, с восьмью лошадьми, ехали сопровождавшие ее дамы. Остальных лошадей вели в поводьях. Марина продолжала путь свой через Смоленск, Дорогобуж и Вязьму не без труда, по причине половодья, хотя дороги и были исправлены по возможности. Польские послы переехали границу только 16 апреля и направились тем же путем; при них также находилась многочисленная вооруженная свита[238].

На пути поляки много буянили и обижали русских жителей, так что воевода вынужден был назначить судей для обуздания строптивых[239]. Но сия мера не имела успеха, и к своевольству привыкшие люди мало слушали судей. Таким образом, весьма естественно, что между необузданными поляками и огорченными русскими жителями усилилось врожденное отвращение.

Девятнадцатого апреля невеста достигла Вязьмы. Тут воевода расстался с дочерью своей и поехал вперед с сыном, зятем и племянником, взяв с собой небольшое число служителей. Сим исполнял он желание Лжедимитрия, приглашавшего его ускорить прибытие в столицу, дабы уговориться о приготовлениях к свадьбе и о необходимых при оной обрядах.

Воевода прибыл в Москву двадцать четвертого числа. Сам он и сопутствующие ему три знатных поляка ехали верхом на высланных от царя великолепно убранных лошадях. Еще за две версты от города выехал к нему навстречу верхом боярин Басманов в богатом гусарском платье, который с окружающей его многочисленной толпой знатных людей и московских дворян проводил новоприезжих до изготовленного для них дома.

На другой день был торжественный прием воеводе у Лжедимитрия. Расстрига сидел на троне, в одежде, унизанной жемчугом, с алмазным и лаловым ожерельем, на коем висел изумрудный крест; в правой руке он держал скипетр, а голова его была украшена высокой короной, осыпанной драгоценными каменьями[240]. Трон из чистого серебра с позолотой, вышиной в три локтя, находился под балдахином, составленным из четырех щитов, крестообразно положенных, над коими возвышался круглый шар, поддерживающий двуглавого орла из чистого золота. Над креслами висела икона Богоматери, украшенная драгоценными каменьями. У подножия трона на углах лежали серебряные львы величиной с волка, на коих утверждались круглые столбы. От щитов над передними столбами висели с каждой стороны по кисти из жемчуга и драгоценных каменьев, в числе коих находился топаз величиной более грецкого ореха. На двух высоких серебряных ножках стояли грифы, касаясь столбов. Ведущие к трону три ступени были покрыты золотой парчой. С обеих сторон стояло по два рынды, с железными бердышами на золотых рукоятках, в бархатной белой одежде, подбитой и обложенной горностаями, в белых сапогах и с золотыми цепями на груди. По левую руку царя стоял князь Михаил Шуйский-Скопин с обнаженным мечом, в парчовой одежде, подбитой соболями, а за царем Власьева сын в богатом одеянии, имея в руках платок. Справа сидел в креслах патриарх в черной бархатной рясе, выложенной по краям в ладонь шириной жемчугом и драгоценными камнями. Перед ним служка держал на золотом блюде крест и серебряную чашу со святой водой. Ниже патриарха помещались на лавках семь архиепископов и епископов, а за сими бояре и дворяне, кои также сидели и на левой стороне трона. Персидские ковры покрывали пол и скамьи.

Мнишек, увидев презренного им пришельца во всем блеске царского величества, невольно смутился и только по некотором молчании поклонился Лжедимитрию и поцеловал ему руку. Потом говорил ему речь, где, превознося его достоинства и счастье своей дочери, не упустил, однако, делать намеки на прежнюю ничтожность, из коей он вывел его своим старанием и попечением. Расстрига заливался слезами. За него Мнишеку отвечал Власьев. После чего самозванец, подозвав воеводу, сам пригласил его к себе на обед, на который и родственники его с их свитой были званы Басмановым. Столовая, обитая персидской голубой тканью, с парчовыми занавесами у окон и дверей, была вся уставлена до самого потолка золотой или серебряной посудой, а из огромного серебряного сосуда вода кранами лилась в три таза. Царские кресла были покрыты черной тканью, вышитой золотыми узорами. Лжедимитрий сидел один за столом, серебряным с позолотой, накрытым скатертью, вышитой золотом. По левую сторону от него, за другим столом, посадили воеводу и его родственников. За третьим столом, накрытым напротив царского, поместили польских служителей, через человека с русскими чиновниками, назначенными их угощать. Но бояре русские сидели особо, по правую сторону самозванца. На сей раз пиршество происходило со всей строгостью старинных придворных обычаев, с одним только изменением, что четырем панам подали тарелки, коих не водилось давать никому. Так как сие происходило в пятницу, то кушанье все было рыбное. Хлеба на столах не находилось, но когда сели, то царь разослал каждому по большому куску калача. Обед продолжался несколько часов. Поляки удивлялись, что стольники исполняли должность свою без поклонов и даже не снимая шапок, а только слегка наклоняя голову. По окончании стола закусок не подавали, а только принесли небольшое блюдо со сливами, которые царь своеручно раздавал стольникам в награждение за их службу.

В следующий день паны после обеда были приглашены во дворец, где играли сорок музыкантов Яна Мнишека[241]. Подавали множество напитков и веселились до самого вечера. Расстрига несколько раз переодевался то по-гусарски, то по-русски. Гусарский наряд его состоял из парчового полукафтанья и красного бархатного доломана, усыпанного жемчугом, с красным исподним платьем и сафьяновыми башмаками. Князь Вишневецкий плясал перед ним с Яном Мнишеком. Самозванец наградил музыкантов со свойственной ему расточительностью. Он приказал выдать им две тысячи злотых (столько же нынешних серебряных рублей).

Двадцать восьмого числа Лжедимитрий с гостями своими ездил на охоту на одиннадцатую версту по Смоленской дороге. Выпускали многих зверей и, наконец, медведя. Так как ни один из панов не отважился сразиться с ним, то сам расстрига пошел на него и одним ударом рогатины убил его и саблей отсек ему голову. Удар рогатиной был так силен, что рукоятка оной разлетелась вдребезги. После сего подвига все обедали поблизости в палатках, приготовленных для невесты. Великолепные ставки сии, расположенные на живописных лугах, прилегающих к речке Сетуни, были окружены полотняной оградой, представляющей вид замка, с четырнадцатью раскатами и тремя воротами[242]. Посередине находились для Марины пять нарядных шатров и восемнадцать других наметов для спутников ее.

Среди пиров и забав занимались и делом, для коего воевода был вызван в Москву. Из начатых переговоров с русским духовенством старый Мнишек убедился в необходимости не вполне удовлетворять наставления нунция Рангони. Положили, чтобы для наружности Марина ходила в греческие церкви, приняла причастие от патриарха и постилась в среду вместо субботы. Но по прочим статьям она должна была сохранять обряды своей веры, и даже позволялось ей иметь латинскую церковь во внутренних покоях ее. Патриарх Игнатий изъявил согласие на сих условиях не только благословить брак Марины, но даже и венчать ее на царство, каковая почесть дотоле никаким царицам предоставляема не была. Прочее духовенство безмолствовало, кроме Гермогена, архиепископа Казанского, и Иоасафа, епи-

скопа Коломенского, которые смело говорили, что если невеста не перекрестится в греческую веру, то брак невозможно будет почитать законным. Непреклонные святители обратили на себя гнев расстриги, который приказал выслать Гермогена в Казань и там, лишив его сана, заключить в монастырь[243]. Такую же участь самозванец готовил и Иоасафу.

Между тем Марина, достигшая Вязьмы, оставалась там несколько дней и только двадцать девятого апреля переехала в шатры, на Сетуни расположенные, где ожидали окончательных приготовлений к принятию ее в столице[244].

Въезд как ее, так и польских послов назначен был второго мая. Сам Лжедимитрий, скрываясь в простой одежде, распорядил встречу. На Москве-реке был наведен живой мост, в малом расстоянии от коего, на правом берегу реки, раскинули два клетчатых богатых шатра[245]. От шатров до моста стояли в две шеренги, по обеим сторонам дороги, триста немецких телохранителей самозванца, а позади их семьсот стрельцов в красной одежде, испещренной разноцветными китайками, на немецкий образец. От моста же до городских ворот вытянулась Доморацкого конная рота польских копейщиков, из семисот тридцати человек состоящая. Польские послы въехали за час перед Мариной. У ворот деревянной ограды Скородума[246] их приветствовали назначенные к ним в приставы князь Григорий Константинович Волконский и дьяк Андрей Иванов, которые и проводили их до отведенного для их жительства посольского двора. Вскоре после того Марина с пышной польской свитой своей подъехала к мосту и вошла в один из приготовленных шатров, где представлялись ей до трехсот русских бояр и других знатных сановников, одетых в парчовые кафтаны. Князь Мстиславский от имени всех их говорил поздравительную речь, после коей подвезли великолепную карету, которую Лжедимитрий дарил невесте своей. Высокая и огромная карета сия, устроенная на русский образец, сверху была покрыта алым золотым глазетом, а внутри обита соболями и вся вызолочена. У колес ступицы были золоченые, а спицы лазоревые с золотыми звездами. Впереди вместо козел стояли два золоченых ангела, держащие в руках розаны. Верх кареты украшался золотым орлом, а на боках испещряли ее драгоценные камни, жемчуг и позолота. Ее везли десять чубарых лошадей, в хомутах из алого бархата, с серебряными вызолоченными пряжками и с шелковыми постромками. Каждую из лошадей вел под уздцы особый конюх. Когда Марина села в сию карету, то началось шествие. Впереди ехали царские дворяне и боярские дети, а за ними знатные поляки, сопутствующие Марине, за коими ехал старый Мнишек, на прекрасном аргамаке, в багряно-парчовом кафтане, подбитом собольим мехом; шпоры и стремена его были из литого золота с бирюзой. Ему прислуживал арап, богато одетый по-персидски. Потом следовала великолепная карета, в коей в большом месте сидела Марина, а напротив ее старостина Тарлова. При карете находились шесть гайдуков в зеленых бархатных кафтанах с золотым позументом и в алых суконных плащах. Несколько поодаль, также по обеим сторонам кареты, шли немецкие телохранители и стрельцы, близ моста ожидавшие прибытия невесты. За первой каретой следовала другая, в которой невеста выехала с ночлега и которую, обитую снаружи красным бархатом, а внутри красной парчой, везли восемь белых лошадей в красных бархатных шорах, коими правили возничии в красных атласных жупанах и ферезях. Карета сия ехала путая, хотя и стояли в ней четыре стула, богато позолоченные и покрытые красной парчой. В третьей карете, также запряженной восьмью белыми лошадьми, в красных бархатных шорах с серебряной позолоченной оправой, сидели княжна Косырская, хоронжина Тарлова и паньи Гербуртова и Казановская. Возничии их были в черных бархатных жупанах и в красных атласных ферезях. Потом ехали две линейки: одну, раззолоченную, резной работы, обитую красным бархатом с золотой бахромой, везли шесть чубарых лошадей в бархатных зеленых шорах, с возничими в зеленом атласном платье; другая, обитая черным бархатом с вызолоченными украшениями, была запряжена шестью карими лошадьми с возничими в черных камчатных ферезях. В пер-

вой линейке сидели две панны, а во второй комнатные девушки Марины. Кроме того, было еще несколько карет, с старыми паннами и горничными, за коими ехали польские гусары Марининой свиты, и, наконец, две тысячи конных русских стрельцов замыкали шествие.

Когда Марина через Курятные ворота въехала в Китай-город, то загремели поставленные на подмостках близ Кремлевской стены семьдесят три барабанщика и столько же трубачей. Сия нескладная музыка продолжалась до тех пор, пока невеста не вступила в Вознесенский монастырь, где до свадьбы своей она должна была жить при царице Марфе.

Народ с беспокойством заметил, что во время шествия Марины через город поднялась буря, подобная той, которая в день вступления Лжедимитрия в столицу уже принята была за худое предзнаменование для его царствования[247]. Московские жители, подозрительно смотревшие на многочисленную вооруженную свиту польских панов, были еще более встревожены, когда поляки, по прибытии на отведенные им дворы, стали с безрассудной гласностью выбирать из повозок своих множество привезенного ими оружия.

Самое размещение по квартирам сих неприятных гостей служило поводом к новому огорчению русских. Для воеводы Сандомирского назначили бывший дом Бориса Годунова в Кремле[248]. Другим же панам отвели поблизости Кремля лучшие дворы не только купцов и духовного звания лиц, но даже вельмож и самих мнимых родственников царя, Нагих[249]. Хозяева, вынужденные уступить жилища свои иноземцам, не без досады переносили причиняемые им расстройства и оскорбление.

Третьего мая Лжедимитрий торжественно принимал на троне сперва поляков Мариниой свиты, а потом королевских послов. Приветствия первых обошлись с должным приличием, но при приеме послов произошли неуместные распри[250]. Послы, извещенные стороной, что Лжедимитрий готовится отвергнуть королевское к нему письмо, потому что на надписи ему не давалось цесарского титула, просили встретившегося с ними в сенях Грановитой палаты воеводу Сандомирского, чтобы он постарался убедить нареченного зятя своего не делать неуместных возражений[251]. Мнишек обещал им употребить на сие все возможные усилия, и они вошли в палату. Думный дворянин Микулин, который ввел их, подойдя с ними к трону, произнес следующие слова: «Всепресветлейший и могущественнейший самодержец, великий государь Димитрий Иоаннович, Божией милостью великий цесарь, князь всея России, многих татарских царств и государств, московской державе подвластных, государь, царь и обладатель! Всепресветлейшего и великого государя Сигизмунда третьего, Божией милостью короля Польского, великого князя Литовского, послы Николай Олесницкий и Александр Гонсевский бьют челом у престола вашего царского величества». Тогда Олесницкий, поклонившись, сказал: «Всепресветлейший, великий государь Сигизмунд третий, Божией милостью король польский, великий князь Литовский, Прусский, Жмудский, Мазовецкий, Киевский, Волынский, Подольский, Лифляндский, Эстляндский и других, наследный король шведский, готский, вандальский, князь финляндский и иных земель, благоволил послать нас, послов своих, меня, Николая Олесницкого из Олесницы, каштеляна Малагоского, и пана Александра Корвина Гонсевского, секретаря и дворянина своего, старосту Велижского, помещика Конюховского, с тем, чтобы именем его королевского величества, всемилостивейшего государя нашего, вашему господарскому величеству, Божией милостью всепресветлейшему великому государю Димитрию Иоанновичу, князю всея России, Владимирскому, Московскому, Новгородскому, Казанскому, Астраханскому, Псковскому, Тверскому, Югорскому, Пермскому, Вятскому, Болгарскому и других многих земель царю, отдать братский поклон, осведомиться о здравии вашего господарского величества, поздравить вас с благополучным восшествием на прародительский престол и засвидетельствовать вашему господарскому величеству братскую любовь его королевского величества». Когда посол произнес слово «князь» вместо «цесаря», то Лжедимитрий встал с места и, подозвав одного

боярина, велел снять с себя корону, намереваясь сам говорить, но в ту минуту воздержался. Олесницкий, окончив речь, подал королевское письмо государственному дьяку Власьеву, который тихо прочитал самозванцу надпись и потом, по приказанию его, сказал послам: «Николай и Александр! Вы доставили всепресветлейшему, непобедимому и великому самодержцу от всепресветлейшего Сигизмунда, короля Польского и великого князя Литовского, письмо, в коем нет титула цесарского величества. Оно писано к некоторому князю всея России, а Димитрий Иоаннович есть цесарь в своих преславных государствах. И так возьмите сие письмо обратно и отвезите к своему государю». Олесницкий горделиво отвечал: «С тем же благоговением, с коим вручили мы Афанасью Ивановичу письмо его королевского величества, приемлем оное обратно, чтобы возвратить государю нашему, когда ваше господарское величество гнушается им. Из всех государей христианских только ваше царское величество не признает древнего титула его королевского величества и, не принимая от нас письма, оскорбляет его королевское величество и всю Речь Посполитую. Воссев на троне сем дивным Божиим промыслом, по милости его величества короля, при помощи народа польского, ваше господарское величество скоро забыли сие благодеяние! И не только его королевское величество, государь наш, вся Речь Посполитая, мы, послы ее, но и все сии знаменитые поляки, стоящие пред очами вашего господарского величества, оскорблены уничижением достоинства нашего государя и Речи Посполитой. И так мы не можем исполнить королевских поручений, о коих ваше господарское величество узнали бы из письма, вами отвергнутого. Просим дозволения возвратиться на квартиру». Тогда Лжедимитрий, не воздерживая более врожденную в нем словоохотливость, сам пустился в неприличное прение и сказал следующее: «Необыкновенное и неслыханное дело, чтобы монархи, восседая на троне, спорили с послами; но король Польский, опуская наши титулы, принуждает нас к сему. Удивляемся, что нас король, его милость, братом и другом своим именует, а нас как бы в голову ударяет, унижая нас и отнимая собственный наш титул, который дарован нам от Самого Бога, который именем не на словах, а на самом деле, и на употребление которого ни римляне, ни другие древние монархи не могли более нас иметь права. Нас именуют императором по тем же причинам, по коим и их так именовали, ибо не только кроме Бога нет никого выше нас, но мы также имеем власть законодательную и, что еще важнее, сами закон в великом государстве нашем, что и означает монарха или императора. Мы, по милости Божией, пользуемся такой же властью, какой пользовались цари ассирийские, мидийские и персидские. Мы также сами повелеваем несколькими царями татарскими, а потому и не усматривается, почему бы мы теперь были хуже великого хана, которого все историки называют татарским императором? Впрочем, многие и нас так называют, и сами его цесарское христианское величество и святейший отец никогда не стыдились в письмах своих нас, или предков наших, именовать цесарями. Посланник наш к его королевскому величеству, Афанасий Иванович Власьев, придворный наш казначей, имел на то при себе достаточные доказательства. Мы хорошо знаем, что предки нашего сего титула не употребляли и оного не требовали, но сие не может служить для нас препятствием, ибо молчание монархов или неупотребление ими довлеемого титула не составляет никакой давности, и от беспечности предков наследники в сем случае не утрачивают своих прав. К тому же должно вспомнить, что всякое государство начинается с простоты и грубости и только со временем все более и более получает образованности в нравах, обычаях и даже самых речах. Так мы читаем, что в век простоты цари назывались пастырями, судьями и другими не пышными наименованиями, и сие замечается при начале всех государств. Вследствие, нисколько не удивительно, что в прежние времена поступали неосмотрительно не только предки наши, но и другие государи. Ибо ежели правда, как о королях Польских пишут польские историки, что они получили от императора Оттона корону и титул короля, хотя прежде того уже были и именовались монархами, то они приняли от равного себе то, что имели от Бога, и наверное

ныне того бы не сделали. Сверх того, каждый государь может называть себя, как хочет. Так, у римлян многие императоры называли себя народными трибунами, консулами, авгурами и оставляли свой титул по произволу. Всем также известно, что с начала римские императоры именовались только принципами. Август император не хотел называться господином, хотя действительно был таковым, ибо сами римляне особенным законом предоставили ему полную повелительную власть, освободив его от всех законов. Самые предки короля, его милости, назывались князьями, монархами и только наконец королями. По сим причинам мы объявляем сим королю, его милости, что мы не только господарь, царь, но и император, и не намерены понапрасну терять сей титул государства нашего. Если король, его милость, почитает нас братом и другом, почему же отказывает в достоянии нашем: ибо тот более мне враг, кто умаляет преимущества и украшения моего государства, которые монархи берегут, как зеницы глаз, чем кто посягнет на мое имение. Самая высшая справедливость есть воздавать каждому, что ему принадлежит. Иное дело было, когда предки находились в вражде с Польской державой. Тогда пристойно было унижать друг друга, как сие и в других государствах делалось и делается. Но в дружбе должно поступать иначе; почему мы и надеялись, что король, его милость, будучи старейший, сам направит нас ко всему, клонящемуся к добру и чести нашей и государства нашего»[252].

По вы слушании сего многословного изъяснения Олесницкий возразил: «Ваша пресветлейшая господарская милость в начале своей речи упомянули, что необыкновенное дело монархам, сидящим на троне, спорить с послами. Точно так: столь же необыкновенно, чтобы послы осмеливались говорить о том, чего не предписано в данном им наказе. Но как ваше господарское величество сами к тому принуждаете меня, то я хотя и не имею дара без приготовления отвечать на сии речи вашему господарскому величеству, однако ж как поляк, человек народа вольного, привык говорить свободно. Вспомните, ваше господарское величество! Или прикажите справиться в коронных канцеляриях в литовской и в своей московской, даже спросите сих престарелых думных бояр, какой титул употребляли предки вашего господарского величества? Всепресветлые короли, государи наши, никогда не приписывали им цесарского титула, который ваше господарское величество неправильно себе присвояете. Предки ваши никакого цесарства под свою державу не покорили и употребляли тот самый титул, который признает чрез нас его королевское величество, всепресветлый и непобедимый государь. Разве иначе писывал к вам король Польский, когда он, обласкав в своих владениях ваше пресветлейшее господарское величество, с усердным желанием помогал вам отыскать прародительский венец? И теперь, оставаясь в прежней искренней приязни, не тем ли более доказывает ее вашему пресветлейшему господарскому величеству, когда вы видите свидетельство оной не в одних пустых словах, а на самом деле? Между тем всякому очевидно, как вы платите за все сие его королевскому величеству! Скоро забыли ваше пресветлейшее господарское величество, что на сей престол вы взошли чудесным образом, благостью Божией, по милости его королевского величества, всемилостивейшего государя нашего, с помощью наших братьев, поляков, проливавших кровь свою за ваше пресветлейшее господарское величество! Вы платите вместо благодарности неблагодарностью, вместо приязни неприязнью; доброе расположение и дружелюбие его величества, государя нашего, пренебрегаете и сами даете повод к разлитию крови человеческой. С чрезвычайной горестью приемля участие в таковой его королевскому величеству обиде, мы свидетельствует пред вами, всепресветлейший господарь! Самим Богом и сими думными боярами, что не король Польский, государь наш, а ваше господарское величество разрываете дружбу с его величеством и Речью Посполитой. Теперь мы готовы возвратиться с сим к нашему государю и просим проводить нас на квартиру»[253].

Если бы Лжедимитрий умел сохранять достоинство своего сана, то, услышав столь дерзкие нарекания, немедленно велел бы выслать посла. Вместо того, продолжая с ним пре-

ние, он говорил следующее: «Я знаю, какие титулы имели наши предки, и показал бы их на бумаге, но теперь не время. Вы сами увидите их, когда велим нашим думным боярам вступить с вами в переговоры. Король же, умалчивая употребляемый нами титул, оскорбляет не только нас, но Самого Бога и все христианство. Если бы кто-нибудь не назвал вас паном Олесницким, вы верно не отвечали бы тому? Равным образом и я не могу принять сего письма, потому что в надписи оного нет моего полного титула. Мы обещали королю быть для него братом и таким другом, какого до сих пор не имела держава Польская; а теперь мы должны остерегаться короля более, чем самого неприязненного из неверных государей. Знаю, что некоторые из ваших единоземцев убеждают его величество, короля, не признавать наших титулов; но мы не хотим вступать с вами в дальнейшие споры». Посол отвечал: «Не желаем и мы на сей раз продолжать разговоров с вашим господарским величеством. Вы обещали повелеть думным боярам переговорить с нами о своем титуле: тогда будет время подробно рассудить о сем предмете, вместе с другими поручениями его королевского величества». Засим послы готовились выйти, но Лжедимитрий, снова обращаясь к Олесницкому, сказал ему: «Пан Малагосский! Испытав в областях польских вашу ко мне привязанность и зная, что везде вы желали мне добра, хочу приять вас в государстве моем не как посла, а как приятеля моего. Подойдите к руке нашей». Посол не тронулся с места и возразил: «Всепресветлейший великий господарь! Нижайше благодарю за милость, которую ваше господарское величество изъявляете моему лицу; но как вы принимаете меня не послом, то я не могу оною пользоваться и прошу ваше господарское величество не оскорбиться моим отказом. Осыпанный милостями вашего господарского величества, я старался доказать вам в Польше свою доброжелательную услужливость: да позволено мне будет доказать теперь свою преданность и верность его королевскому величеству». Хотя расстрига и повторил приглашение, Олесницкий только поклонился и отозвался, что не может исполнить царского желания. Смущенный стойкостью посла, Лжедимитрий, наконец, воскликнул: «Подойди, вельможный пан, как посол!» Олесницкий и тут упорствовал и отвечал: «Подойду, если ваше господарское величество возьмет письмо королевское». «Возьму», – сказал самозванец. Тогда оба посла поцеловали его руку. Власьев принял письмо и прочитал его перед троном. Потом, по приказанию Лжедимитрия, сказал послам: «Хотя королевского письма без цесарского титула принимать не следовало бы, однако ж его цесарское величество, для свадьбы своей забывая обиду, нанесенную опущением титулов своих, принимает сие письмо и вас, послов короля Польского. По возвращении же к государю своему вы должны сказать ему, чтобы впредь он не присылал подобных писем, не прописав в них полного титула цесарского. Его цесарское величество именно вам повелел сказать, что впредь ни от короля Сигизмунда, ни от кого-либо другого никаких писем без полного цесарского титула он принимать не прикажет. Теперь же, если имеете какое-либо поручение от короля Сигизмунда, государя своего, исполняйте долг посольства пред цесарским престолом».

Послы отправили посольство обыкновенным порядком. Олесницкий в речи своей объяснил, что он с товарищем своим присланы от короля, дабы вместо его особы присутствовать на свадьбе Лжедимитрия. Гонсевский же сказал, что им поручено также войти в сношение с думными боярами по предмету взаимных требований Польши и России, дабы с благополучным окончанием сих дел можно было приступить к тесному союзу против турок[254]. В ответе на сии речи Власьев объявил, что государь прикажет боярам начать предлагаемые переговоры.

Послы заметили, что по старинному обряду российские государи всегда спрашивали о здоровье короля, встав с своего места. Лжедимитрий, услышав сие, спросил, не вставая с места: «Его королевское величество, государь ваш, в добром ли здравии?» Олесницкий отвечал: «Его королевское величество, государь наш, был в добром здравии и счастливо царствовал, когда мы выехали из Варшавы. Но вашему царскому величеству надлежало привстать,

спрашивая о здравии его королевского величества». Лжедимитрий отвечал: «Пан Малагосский! У нас обыкновение вставать, спросив прежде о добром здравии, – и, приподнявшись немного, присовокупил: – Мы радуемся, что король, ваш государь, а наш друг, находится в добром здравии».

По поднесении послами подарков Власьев сказал им: «Цесарское величество жалует вас своим обедом»[255]. Действительно, чрез несколько часов по возвращении их на посольский двор чашник Василий Бутурлин прибыл к ним с различными яствами и напитками, принесенными в золотых сосудах. В сей день расстрига огорчил и поляков, и русских; суеславные настояния его о титуле возбудили негодование поляков, а русские хотя и не одобряли настояний сих, но не менее того досадовали, когда увидели, что он, как будто устрашенный решимостью посла, согласился отстать от оных. Также сказанное Гонсевским о взаимных требованиях обоих государств много потревожило русских, которым казалось сие подтверждением уже носившихся слухов об обещанной самозванцем королю уступки городов, хотя Лжедимитрий, извещенный о сей молве, и уверял, что ни единой пяди русской земли никогда не отдаст Польше[256].

Марина, вместо того, чтобы в кельях монастырских весть жизнь скромную и уединенную, помышляла только об удовлетворении своих прихотей, в чем не получала отказа от жениха. Например, так как ей не по вкусу были приносимые из дворца яства, то Лжедимитрий приказал готовить для нее кушанье польским поварам и отдать им ключи от царских запасов и погребов[257]. Для увеселения же невесты своей самозванец вводил к ней в монастырь скоморохов, скрипачей и песенников, которые шумными забавами нарушали мирную тишину святой обители, к большому соблазну набожных москвитян[258]. Расстрига также без меры дарил невесту. Он прислал ей ларец с разными драгоценными вещами ценой на пятьсот тысяч рублей (два миллиона с половиной нынешних серебряных) и дозволил ей раздавать из оных, что кому пожелает[259]. Кроме того, старый Мнишек получил на заплату долгов своих в Польше сто тысяч злотых (столько же серебряных рублей). Считают, что самозванец на одни дары Марине и полякам растратил до восьмисот тысяч рублей[260] (до четырех миллионов нынешних серебряных).

Расстрига, как бы во всех случаях изыскивая вернейший способ раздражить русских, назначил для свадьбы и венчания на царство Марины четверг восьмого мая. Устав православной церкви не дозволяет совершать обряд бракосочетания ни под пятницу, ни под всякий праздник. В обоих сих отношениях нарушалось правило, ибо девятое число было не только в пятницу, но и Николин день.

Для избежания давки на Царской площади Марина поздно вечером в среду переехала во дворец при свете множества факелов[261]. Дети боярские и немецкие алебардщики шли перед ее каретой. Тогда же было жаркое прение у самозванца с боярами. Поляки хотели, чтобы Марина венчалась в польском платье, под предлогом, что она не привыкла к иному[262]; Лжедимитрий и в том желал угодить им, но русские сановники требовали непременно, чтобы она оделась по-русски. Непреклонность их убедила наконец расстригу, что отступление в сем предмете от старинных обычаев сочтено было бы ими за оскорбление чести народной. Несмотря на обыкновенную ветреность свою, он сказал: «Хорошо! Я согласен исполнить желание бояр и обычай народный, чтобы никто не жаловался, будто я замышляю великие перемены. Один день ничего не значит!»

Свадебные обряды того времени были соблюдены в точности. Посаженными отцом и матерью назначены князь Мстиславский с супругой[263]. Тысяцким был князь Василий Иванович Шуйский, а дружками у жениха были бояре князь Димитрий Иванович Шуйский и Григорий Федорович Нагой, а у невесты боярин Михайло Александрович Нагой и пан

Тарло. Свахами, как у жениха, так и у невесты, были супруги их дружек. В поезде находился двадцать один знатный московский дворянин, а в сидячих шесть боярынь, семнадцать бояр, четверо окольничих, два думных дворянина, четыре думных дьяка, постельничий и два стряпчих с ключом. В назначенный час Марину ввели в столовую избу ее отец и княгиня Мстиславская. Перед невестой шли дружки и Рождественский протоирей в епитрахили и поручах, со святой водой и крестом, а за ней следовали свахи и боярыни сидячие. Марина была в красном бархатном русском платье с широкими рукавами и в сафьяновых подкованных сапогах, но все на ней было так усыпано алмазами, лалами и жемчугом, что не видно было ни бархата, ни сафьяна. Головной убор ее состоял из богатого кокошника[264]. Протоирей и дружки пошли за женихом, который немедленно с ними отправился в столовую, взяв еще с собой только одних *поезжан*. Одежда его покрывалась червленой бархатной мантией, унизанной жемчугом и драгоценными каменьями, а на голове сияла корона; в одной руке он держал скипетр, а в другой державу, осыпанную алмазами. По прибытии его в столовую началось обручение по русскому обряду. Протоирей говорил приличные молитвы, дружки резали караваи и подносили ширинки. После обручения жених и невеста пошли Постельным крыльцом в Грановитую палату, где ожидали их сидячие и где изготовлен был возле царского трона другой, поменьше, для Марины. Лжедимитрия вели под руки воевода Сандомирский и князь Мстиславский, а Марину княгини Мстиславская и Шуйская. За ней шли знатные польки: обе Тарловы, Гербуртова и Казановская. Войдя в Грановитую палату, Лжедимитрий сел на трон, а тысяцкий князь Шуйский, подойдя к Марине, произнес следующие слова: «Наяснейшая и великая государыня цесаревна и великая княгиня Марья Юрьевна, и за изволением наяснейшиего и непобедимого самодержца, великого государя Димитрия Ивановича, Божией милостью цесаря и великого князя всея Русии, и многих государств государя и обладателя, его цесарское величество изволил вас, наяснейшую великую государыню, взятии себе в цесареву, а нам в государыню, и Божией милостью, обручанье ваше цесарское ныне совершилось; и вам бы наяснейшей и великой государыне нашей, по Божьей милости и по изволению великого государя нашего, его цесарского величества, вступати на свой цесарский маетат[265] и быть с ним великим государем на своих преславных государствах». После сей речи протоирей осенил крестом малый трон, который и заняла Марина. Тогда ввели в палату польских послов и других знатных поляков. Все сели, как иноземцы, так и русские, кроме поезжан. Ожидали большой короны, животворящего креста и барм, за которыми послано было на казенный двор. По принесении сей царской утвари принял ее боярин Михайло Федорович Нагой и поднес Лжедимитрию, который приложился к кресту и поцеловал корону. То же сделала и Марина. После чего Благовещенский протоиерей, покрыв пеленой утварь, отнес ее на голове своей в Успенский собор и был встречен у дверей патриархом, который положил утварь на изготовленном посреди церкви налое. Когда донесли Лжедимитрию, что все готово для священнодействия, то он через Красное крыльцо отправился в собор. Впереди шли стольники, стряпчие, знатные поляки и королевские послы, а за ними поезд. Потом нес скипетр боярин князь Василий Васильевич Голицын, и державу боярин Басманов. За Басмановым следовал в епитрахили Благовещенский протоирей, кропящий святой водой перед женихом и невестой, которые шли рядом один подле другого. Лжедимитрия под правую руку поддерживал воевода Сандомирский, а Марину под левую княгиня Мстиславская. За ними шли бояре, дворяне, думные и приказные люди и прочие поляки из Мнишковой свиты. Путь устлан был сукном, а по оному фиолетовым бархатом. Охранение порядка было поручено на Красном крыльце и от оного до собора шести головам стрелецким, двадцати сотникам да тремстам стрельцам. Кроме того, стояли еще в ружье немецкие телохранители и несколько стрельцов. В соборе устроено было чертольное место, обитое красным сукном, о двенадцати ступенях. На оном стоял трон для Лжедимитрия, пер-

сидский, золоченый с каменьями[266], а по обеим сторонам оного находились стулья; на правой стороне, поменьше, для патриарха, а на левой большой золоченый для Марины. Войдя в церковь, Лжедимитрий и Марина прикладывались к иконе Владимирской Божьей Матери и к ракам чудотворцев. Потом проводили их в чертольное место патриарх и митрополит Новгородский. Тогда, к изумлению русских, началось коронование Марины, не только прежде отречения ее от папежства, но даже прежде брачного обряда. Уклончивый патриарх не усомнился возложить животворящий крест, бармы и царский венец на иноверную польскую девицу. По окончании коронования патриарх служил обедню, которую Лжедимитрий слушал с обыкновенного царского места, а Марина сначала отошла в придел Димитрия Селунского со свахами и некоторыми боярами, а после херувимской подошла к царским дверям, где патриарх помазал и причастил ее в явное посмеяние православия. Когда отошла обедня, то выслали из церкви всех незнатных людей и приступили к брачному венчанию, которое исправлял Благовещенский протоирей. Сим окончились церковные обряды, и Лжедимитрий с Мариной вышли из собора и отправились в столовую избу при звуке труб и литавр, колокольном звоне и пушечной стрельбе. На рундуке собора и при дверях столовой князь Мстиславский осыпал расстригу в каждом месте по три раза золотыми монетами ценой от пяти до двадцати червонцев. В столовой Лжедимитрий и Марина сели обедать с воеводой и его родственниками и весьма малым числом бояр[267]. Сидели только до третьего кушанья, а потом новобрачные пошли в новый деревянный дворец, куда поезд провожал их до постельных комнат, а воевода и тысяцкий до самой постели.

На другой день был торжественный пир в Грановитой палате. Лжедимитрий с Мариной сидели на троне за особенным столом. Расстрига был одет по-гусарски, а Марина по-польски[268]. За другими столами обедали родственники Марины с их свитой. Королевские послы также были приглашены, но не поехали, потому что самозванец не хотел посадить их за собственным столом своим[269]. Основываясь на том, что в Кракове Власьев сидел за собственным королевским столом, они домогались, чтобы, по крайней мере, одному из них была оказана таковая же почесть. Расстрига поручил Власьеву уговаривать их, но Власьев в душе ненавидел поляков и воспользовался случаем, чтобы неприличными речами еще более раздражить послов. Так, например, он говорил им, что если действительно в Кракове сажали его самого за королевский стол, то иначе и быть не могло, потому что за тем же столом имели место послы цесарские и папские, а русский государь выше всех монархов христианских и каждый поп у него папа. Столь странные рассуждения не могли убедить послов; они и в субботу отказались ехать на обед к Лжедимитрию. Старый Мнишек всемерно старался посредничеством своим миролюбиво окончить сие дело, но, видя непреклонность зятя своего, он обратился к послам и представил им, что в Польше мятежная шляхта, недовольная тесным союзом Сигизмунда с Австрией, готовится к междоусобной войне, что в сих смутных обстоятельствах благоразумие требует не ссориться с обладателем московского престола, от коего при дружелюбных его расположениях можно ожидать большого пособия, и что потому следует потешить его в рассуждении посольского места, тем паче, что в день приема, заставив его принять королевское письмо без присвоенного им титула, довольно уже тронули его тщеславие. Послы не оспаривали основательности сих замечаний, но их удерживало то, что в данном им наказе именно поставлено было им в обязанность настаивать о получении места за государевым столом хоть одному из них. Они только тогда решились уступить, когда воевода вызвался ходатайствовать за них у короля и когда Лжедимитрий согласился выдать им письменное свидетельство о том, что они нарушили предписание о месте единственно вследствие обещаний его о доставлении Речи Посполитой важных выгод. В воскресенье, одиннадцатого числа, послы обедали у Лжедимитрия в Грановитой палате. Олесницкий, как старший, сидел один по правую руку трона, за особенным столиком, а Гонсевский

занял первое место за столом, где находились прочие поляки и русские боярыни. Тринадцатого Марина угощала послов и знатных поляков; из русских никого не было, кроме князя Масальского и Власьева[270]. Стол и услуга были в польском вкусе. После обеда долго плясали и разъехались только после захождения солнца. На другой же день у Марины был пир для одних русских.

Но среди сих торжеств составлялся опасный для расстриги заговор, в коем участвовала уже почти вся Москва. Всем русским, без различия сословий, казались нестерпимыми беспутство самозванца и наглость поляков. Если бы гости сии силой оружия овладели столицей, то и тут не могли бы хуже обходиться с жителями оной. В особенности во время свадебных веселий бесчинство их достигло высочайшей степени. На пирах во дворце они ругали русских и даже самых знатнейших, смеялись над всеми их обрядами и поступками и в хвастливых выражениях превозносили собственную свою храбрость, страшась коей, русские, по словам их, приняли от их руки царя[271]. Многие из них, разгоряченные вином, возвращаясь из дворца, рубили саблями встречающихся людей и, вытаскивая из карет знатных боярынь, бесчестили их. Самая святыня мало уважаема была ими. Они ходили по церквам с собаками, а во время коронования в соборе именитейшие из них иные сидели, другие громко издевались над иконами и дремали, прислоняясь к оным[272]. Сии непристойности так озлобили русские сердца, что все ожидали с нетерпением удобного часа для мести и что против приятеля поляков, расстриги, восставали даже и те, которые были главнейшими зачинщиками измены в пользу его. Из самых приближенных его оставался ему преданным только один Басманов.

Князь Василий Шуйский с большим прилежанием следил за беспрестанно возрастающей народной ненавистью к самозванцу и с радостью убедился, что оная достигла до высочайшей степени и что настал час для избавления Отечества от поносного подданства и для наказания дерзкого пришельца, осмелившегося положить вельможную голову его на плаху, ибо, по естественной наклонности человеческого сердца, он более хранил в памяти своей сей позор, чем дарованное ему прощение. В единомыслии с ним были знатнейшие люди в государстве, и в числе оных не только находился убийца царя Феодора Борисовича, князь Василий Васильевич Голицын, но даже сей боярин, с князем Иваном Семеновичем Куракиным были главнейшими помощниками Шуйского[273].

Подвизаясь на дело отечественное, они хотели отстранить от себя влияние личных страстей, могущих поселить раздор между самыми сообщниками их, и потому все трое дали обещание друг другу непременно извести расстригу, а которому из них приведется быть царем после него, отнюдь не мстить никому за прежние вины и управлять государством общим советом. Из всей Боярской думы одному князю Мстиславскому не вверили тайну заговора, опасаясь известного его малодушия.

Уверившись в синклите, Шуйский обратился и к нижним сословиям, которыми, как уже сказано выше, был весьма уважаем. Созвав в дом свой уговоренных бояр, да еще купцов и городских сотников и пятидесятников, он представил собранию печальную картину России в руках поляков и Москвы, наполненной опасных для спокойствия ее иноземцев[274]. Он напомнил, что хотел предупредить зло, но что москвичи его не поддержали и что он сам едва не оставил головы своей на плахе. В отношении к самозванцу он дал заметить, что вообще признали его за царевича, дабы избавиться ненавистного владычества Годуновых и в надежде найти в юном витязе храброго защитника православной веры и отечественных обычаев; но что сие ожидание не сбылось и, напротив того, Лжедимитрий обращается как настоящий поляк, любит только иноземцев, не чтит святых, оскверняет храмы Божии дозволением входить туда некрещеным ляхам, да еще и с собаками, изгоняет пастырей душ из домов их, которые отдает немцам, наконец, и сам женится на поганой польке. Изложив

все сие, Шуйский присовокупил, что, если благовременно не примутся меры к прекращению неистовств, то должно ожидать пущих бед, что он для спасения православия снова не пожалеет себя, только помогали бы ему с усердием и верностью, что каждый сотник должен убедить своих подчиненных в самозванстве царя, замышляющего новые злодейства со своими поляками, и что московским обывателям предстоит посоветоваться между собой, каким образом избавиться от него, что за святую Русь могут восстать более ста тысяч людей, а за самозванца останутся только пять тысяч поляков, и то рассеянных по целому городу, и что стоит единственно назначить день, чтобы избить их вместе с гнусным обманщиком. Отпуская от себя сотников, Шуйский убеждал их не медлить делом и уведомить его, на что решатся граждане.

Разглашения сотников подействовали так успешно на простой народ, выведенный из терпения поступками Лжедимитрия и поляков, что никто и не помыслил заступаться за самозванца, которого менее года тому принимали с восторгом. Напротив, все жаждали видеть конец его нелепого властвования.

Уже двенадцатого мая громко говорили на рынках, что Лжедимитрий изменил православию, что он редко посещает Божии храмы, вводит чужие обычаи, ест скверную пищу, не выпарившись, ходит к обедне, не кладет поклонов перед иконами и после свадьбы ни разу, с поганой женой своей, не мылся в бане. Немецкие алебардщики схватили одного из дерзких болтунов и представили во дворец. Расстрига велел допросить его; но бояре, коим поручено было исполнить сие, донесли самозванцу, что виновный врал спьяну, что, впрочем, и в трезвом виде он не умнее бывает по природной простоте, и что государю не следует тревожиться наушничеством немцев, потому что у него довольно силы для усмирения мятежа, если бы какой безумец и затеял подобный.

Но и без сих лукавых внушений нелегко было уверить расстригу в угрожаемой ему опасности. Беспечность его основывалась не только на врожденной самонадеянности, но еще на каком-то предсказании, обещавшем ему тридцатичетырехлетнее царствование. В ослеплении своем он даже изъявлял гнев свой тем, которые его предостерегали[275].

Хотя множество людей уже вошли в заговор, но чувство отвращения к самозванцу было такое единодушное и глубокое, что не нашлось ни одного доносителя. Однако ж невозможно было, чтобы при сем многолюдстве тайна не разгласилась. В особенности проведали о ней немцы, от коих менее береглись, чем от поляков. Ротные начальники немецких телохранителей три дня сряду, а именно тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого мая, письменно доносили самозванцу о замышляемом восстании, но получили в ответ, что все это ничего не значит[276]. Расстрига, или действительно избалованный счастьем, не предусматривал опасности, или желал выказывать бесстрашие для обуздания злонамеренных. Он приказал готовиться к новым забавам. В следующее воскресенье у Марины должны были происходить пляски в масках, и в тот же день Лжедимитрий намеревался для воинской потехи делать примерный приступ к деревянному с насыпью городку, по повелению его выстроенному в поле, за Сретенскими воротами. Уже несколько пушек отправлены были туда. Сим случаем еще воспользовались бояре, чтобы уверить народ, что Лжедимитрий замышляет не потеху, а избиение знаменитейших москвитян[277], дабы потом беспрекословно вести в Россию папежество[278].

Между тем ожесточение московских обывателей на поляков было так велико, что многие из них, не дождавшись, чтобы начальники заговора назначили день для дружного восстания, вздумали сами собой приступить к действию. В ночь с четырнадцатого на пятнадцатое многочисленные толпы бродили по улицам, ругая поляков[279]. В особенности до четырех тысяч человек собралось близ квартиры князя Вишневецкого, который надменностью своей более всех прочих ляхов вооружил против себя русских. Но так как никто из вождей не

явился, то предприятие ограничилось бесплодным шумом, и с рассветом все разошлись по домам.

Сие бездейственное покушение, вместо того, чтобы предостеречь самозванца, кажется, умножило еще его беспечность, внушив ему пагубную мысль, что его так все страшатся, что ни у кого не достанет духу в самом деле восстать против него. В сем предубеждении он успокоился совершенно и занялся делом государственным. Утром пятнадцатого числа польские послы были приглашены во дворец, где нашли Лжедимитрия, сидящего в голубой одежде, в высокой шапке и с посохом в руке. Он отправил их в особенную палату, куда прибыли также назначенные для переговоров с ними бояре – князь Димитрий Шуйский и князь Рубец-Мосальский, думный дворянин Татищев и думные дьяки Власьев и Грамотин. Послы сказали, что король, усердствуя разделить с царем славу войны против Порты, просит объявить им, когда и с какой силой царь намерен ополчиться на неверных, после чего и они в состоянии будут изъяснить, что и Польша может предпринять со своей стороны. Татищев отвечал им, что царь, намереваясь воевать с турками, имеет только в виду ревность к славе Божией и святой вере, а что поляки намеками своими дают повод подозревать, что желают единственно выведать мысли московского государя, чтобы потом найти предлог самим уклониться от содействия. Послы обиделись таковым упреком, в доказательство несправедливости коего приводили, что всегда предлагающий предприятие обязывается первый объяснить, какими мерами надеется достигнуть желаемой цели. Тогда русские сановники пошли доложить самозванцу о слышанном ими. Татищев, Власьев и Грамотин возвратились с таким ответом, что царь приказал думным людям своим заняться изложением мыслей своих по предмету нужных средств для замышляемых действий и что он в непродолжительном времени сам будет о сем совещаться с послами в присутствии своих бояр.

Из дворца послы поехали обедать к пану Тарло, куда приглашены также были князь Вишневецкий, пан Немоевский, оба Стадницкие и другие паны. Гости по тогдашнему польскому обыкновению порядком подпили. Когда после обеда они занялись пляской, то пришли сказать им, что поляки подрались с русскими. Нетрезвые паны смутились тем более, что имели еще на уме скопища прошлой ночи. В сие время ударили к вечерне. Оробевшие гости приняли сей звон за набат и разбежались. Послы поспешили возвратиться домой и известили единоземцев своих, чтобы в случае опасности искали убежища на Посольском дворе. Но скоро узнали, что вся тревога произошла только от того, что хмельной гайдук князя Вишневецкого прибил русских и, в свою очередь, был прибит ими. Лжедимитрий двукратно присылал к послам секретаря Бучинского успокаивать их и сказать им, что он так хорошо принял в руки государство, что без воли его ничего произойти не может. Несмотря на уверения сии, послы поставили стражу у себя на дворе, а воевода Сандомирский и сын его расположили на занимаемых ими дворах всю прибывшую с ними польскую пехоту с хоругвями и барабанами.

Стража в Кремле также бодрствовала и схватила ночью прокравшихся в крепость шесть подозрительных человек, которых приняли за лазутчиков. Трех из них умертвили, а остальных избили.

В пятницу шестнадцатого числа уже в русских лавках отказывались продавать полякам порох и всякое оружие[280]. Столь явная неприязнь встревожила польских жолнеров. Они объявили о предстоящей опасности воеводе Сандомирскому, который донес о том самозванцу. Но расстрига смеялся над сими рассказами и дивился малодушию поляков. Впрочем, для успокоения их велел на следующую ночь расставить по улицам караулы из стрельцов. Кажется, что он весьма полагался на приверженность к себе сего войска и что на сей уверенности наиболее основывалась его беспечность. Он рассчитывал, что десять тысяч стрельцов, пять тысяч поляков и триста немцев достаточно для обуздания нестройных скопищ московской черни.

Так как пятница прошла спокойно, то сами недоверчивые поляки начали думать, что волнение народное утихло, и в сем предположении они беззаботно предались сну. Но в сие самое время мятеж готовился разразиться. Князь Шуйский с товарищами, видя, что народное стремление опереживает принимаемые ими меры, почли неуместным дальнейшее отлагательство и решились приступить немедленно к исполнению своего предприятия. Хотя расстрига сидел еще на московском престоле, но все русское уже беспрекословно повиновалось им одним. По повелению их восемнадцатитысячное войско, стоявшее в семи верстах за городом и долженствовавшее следовать к Ельцу, ночью с шестнадцатого на семнадцатое введено было в столицу разными воротами. В ту же ночь все двенадцать городских ворот были заняты посланными от бояр дружинами, которые не пропускали никого в столицу, ни из оной. Так как самые приближенные придворные принимали участие в заговоре, то немецкие телохранители, из коих всегда по сто человек находилось во дворце, получили от них приказание именем самозванца, иные в пятницу вечером, а другие в субботу рано поутру, разойтись по домам, так что всего осталось на страже при дворце только тридцать алебардщиков. Московские обыватели провели всю ночь в ожидании набата; они, по сделанной им повестке, с первым звоном колокола должны были стекаться на Красную площадь[281].

В субботу, около четырех часов утра, ударили в колокол, сперва у Ильи Пророка близ Гостиного двора, и тотчас же набат раздался по всему городу. Со всех концов тысячи людей с ружьями, саблями, топорами и рогатинами стремились к Красной площади, где сидели уже на конях бояре и дворяне числом до двухсот в полном вооружении. На тревогу выбежали из домов своих и те из москвитян, которые неизвестны были о заговоре; им говорили, что литва бьет вельмож русских, и они спешили за прочими, на помощь знатным единокровным своим[282].

Начальник заговора, князь Василий Иванович Шуйский, видя, что Москва дружно восстает за Русь, не дождавшись, чтобы вся чернь собралась на площади, предложил дворянам немедленно напасть на дворец, дабы не дать времени самозванцу опомниться и, может быть, скрыться. Все согласились, что благоразумие требовало не мешкать. Шуйский, с крестом в одной руке и с мечом в другой, въехал в Кремль чрез Спасские ворота в сопровождении заговорщиков. Подъехав к Успенскому собору, он слез с коня, приложился к иконе Владимирской Богоматери и, обращаясь к толпившемуся уже перед собором народу, воскликнул: «Во имя Божие идите на злого еретика!» Все хлынуло ко дворцу[283].

Лжедимитрий, нимало не предвидя готовящейся для него беды, всю ночь провел в пировании и с рассветом вышел освежиться на крыльцо. Услышав набат, он спросил, для чего звонят[284]. «Пожар», – отвечали ему[285], и он, не подозревая ничего, спокойно воротился в чертоги свои. Но вскоре грозный вопль приближающихся бунтовщиков снова встревожил его. Он выслал ночевавшего во дворце Басманова узнать, что происходит. Басманов уже нашел весь двор наполненным вооруженными людьми, которые на вопрос его, чего хотят и что за звон, отвечали ему ругательными словами и требовали, чтобы он им выдал самозванца. Тогда Басманов кинулся назад и приказал алебардщикам не впускать никого во дворец, поспешил к расстриге и сказал ему: «Мятеж! Я умру, а ты спасайся!»[286]. В самом деле, Лжедимитрий одним бегством мог избавиться от угрожающей ему опасности. При нем находилось только тридцать алебардщиков и несколько польских слуг и музыкантов, и, следственно, не было достаточных средств для обороны. Алебардщики, видя свое малолюдство, так оробели, что даже допустили, чтобы один из дворян, бывших в числе заговорщиков, пробрался между ними и вбежал в покой, где находился Лжедимитрий с Басмановым[287]. Увидев самозванца, дворянин закричал: «Ну, безвременный царь! Проспался ли ты? Зачем не выходишь к народу и не даешь ему ответа?» Но дерзновенный сей поступок имел пагубные следствия для пылкого дворянина; озлобленный Басманов схватил висевшую на

стене саблю и рассек ему голову. Сам Лжедимитрий, не отложивший еще своего самонадеяния, не терял надежды присутствием своим укротить мятеж. Вбежав в переднюю, где стояли алебардщики, он выхватил меч у курляндца Шварцгофа, вышел в сени и, грозя мечом народу, кричал: «Я вам не Борис!» Но, встреченный выстрелами, он спешил удалиться во внутренние покои. Мужественный Басманов сдержал данное им самозванцу слово – жертвовать собой для его спасения. Оставшись в сенях, он стал уговаривать бояр, чтобы помнили свою присягу и удержали народ от своевольства. В ответ ему избавленный им от ссылки думный дворянин Татищев зарезал его ножом, и труп его был боярами сброшен с крыльца. Таким образом, необыкновенный муж сей, прежде изменивший законному государю своему, не отказался запечатлеть собственной кровью верность свою тому, кого сам в дружеских беседах признавал за самозванца. Сие объясняется только тем, что главнейшая страсть его была честолюбие, к удовлетворению коего гибель царя Феодора Годунова открывала ему путь, как, напротив того, с падением Лжедимитрия исчезала для него всякая надежда сохранить свое могущество.

По смерти Басманова ничто уже не удерживало буйные толпы; немцы-алебардщики, нимало не расположенные последовать его великодушному примеру, положили оружие, и народ не только разломал двери, но даже вырубил несколько бревен в стене и наводнил дворец. Лжедимитрий с досады рвал на себе волосы и побежал объявить Марине о бунте, а потом поспешил через ее покои пробраться в каменный дворец, но и тут, не надеясь найти возможности укрыться, он выскочил из окна на подмостки, устроенные для свадебного празднества[288]. С одних подмостков он хотел перепрыгнуть на другие, но оступился, упал с пятнадцатисаженной высоты на житный двор и вывихнул себе ногу.

Марина, едва пробудившаяся от сна, была не одета; наскоро надев юбку, она в беспамятстве сбежала вниз под своды, но, не находя там безопасности, воротилась наверх[289]. Среди общего замешательства и при помощи ее слишком простого наряда ее не узнали и столкнули с лестницы. Однако она добралась до своего покоя и там осталась с женской свитой своей. Вскоре люди, преследовавшие расстригу из комнаты в комнату, стали ломиться и в покой, где находилась Марина. Камердинер ее Осмульский, желая остановить их, упорно защищался в дверях. Многие полученные им раны не поколебали его решимости, и он продолжал отстаивать дверь до тех пор, пока ружейный выстрел не положил его на месте[290]. Стреляя в него, русские случайно ранили смертельно находящуюся в комнате старую панну Хмелевскую. Москвичи бросились грабить Марину и бывших при ней женщин и оставили их в одних сорочках. Может быть, их ожидала еще и горшая участь, но геройская преданность Осмульского не совсем осталась для них бесполезной. Она дала время боярам приспеть на выручку их. Бояре разогнали буйствующих людей, отвели Марину и женщин ее в особую комнату, к которой приставили стражу, а вещи их, опечатанные, приказали положить в кладовую.

Между тем несколько десятков стрельцов, стоящих на страже близ того двора, на который упал Лжедимитрий, нашли его лежавшим без чувств, отлили водой и перенесли на каменный фундамент сломанного по приказанию его деревянного дворца царя Бориса. Придя в себя, самозванец стал умолять стрельцов, чтобы обороняли его, обещая им в награду жен и поместья бояр. Обольщенные стрельцы решились стоять за него и отогнали ружейными выстрелами первые толпы людей, сбежавшихся к тому месту, где находился расстрига. Но князь Василий Иванович Шуйский убеждал единомышленников своих докончить начатое и говорил им: «Мы имеем дело не с таким человеком, который мог бы забыть малейшую обиду; только дайте ему волю, он запоет другу песню: пред своими глазами погубит нас в жесточайших муках! Так мы имеем не просто с коварным плутом, но с свирепым чудовищем; задушим, пока оно в яме! Горе нам, горе женам и детям нашим, если бестия выпол-

зет из пропасти!»[291]. Тогда в народе завопили: «Пойдем в стрелецкую слободу, истребим семейства стрельцов, если они не захотят выдать изменника плута, мошеники!» Сей угрозой устрашенные стрельцы бросили ружья свои и не препятствовали боярам схватить Лжедимитрия и отнести его в дотоле занимаемые им покои деревянного дворца[292], которые вместо прежнего великолепия являли уже отвратительные следы грабительства и разорения. В передней самозванец прослезился, увидев алебардщиков своих, стоявших без оружия и с поникшей головой. Один из, ливонец Фирстенберг, сжалившись над ним, пробрался в комнату, куда положили его, вероятно, в намерении прислуживать ему. Но преданность Фирстенберга сделалась для него самой гибельной: один из дворян-заговорщиков заколол его. Потом все обступили самозванца, на которого вместо сорванного с него платья надели кафтан пирожника. Озлобленные люди безжалостно вымещали на нем за понесенные от него обиды. Те, которые довольствовались ругать его, оказывались милосердными в сравнении с другими, ударявшими его. Вообще домогались, чтобы он сам сказал, откуда он родом. Но несчастный знал, что, только упорствуя в самозванстве, может некоторых людей оставить в сомнении и тем сохранить слабую надежду к спасению своей жизни. В сем убеждении он не переставал уверять, что действительно сын царя Иоанна Васильевича, и ссылался на свидетельство матери своей, которую просил допросить. В сем ему не отказали, и князь Иван Васильевич Голицын с четырьмя другими сановниками отправились в Вознесенский монастырь и именем Отечества требовали от царицы чистосердечного признания[293]. Царица с раскаянием объявила, что сын ее, пораженный в Угличе по повелению Бориса, точно умер у нее на руках, а что сего ей неведомо откуда пришедшего злодея согласилась принять за своего сына только по женской слабости страха ради[294]. Нагие также подтвердили ее слова. Князь Голицын, воротившись во дворец, сказал расстриге, что мнимая мать отрекается от него. Сраженный сей вестью, самозванец стал просить, чтобы его вывели на лобное место, обещаясь там всенародно объяснить истину. Слова сии приняты были в виде косвенного признания. Народу, толпившемуся под окнами на дворе и прилежно осведомляющемуся о всех речах Лжедимитрия, объявили, что он винится. Тысячи голосов завопили: «Бей его, руби его!» Тогда между наполняющими царские чертоги людьми протеснился боярский сын Григорий Валуев и, сказав: «Чего толковать с еретиком? Вот я благословлю польского свистуна», – ружейным выстрелом из-под армяка убил расстригу. Присутствующие в ожесточении своем саблями секли бездушный труп и сбросили его с крыльца на тело Басманова, говоря: «Ты любил его живого, не расставайся и с мертвым». Несколько времени спустя чернь, обнажив два трупа, повлекла их чрез Спасские ворота на Красную площадь. Тело Лжедимитрия там положили на стол длиной в аршин, так что свесившиеся ноги касались груди Басманова, положенного на скамье под столом[295]. Прискакавший верхом из Кремля дворянин с волынкой и маской всунул волынку расстриге в рот, а маску положил на брюхо и сказал: «Ты, негодяй, часто нас заставлял дудеть; теперь сам дуди в нашу забаву»[296].

Месть народная еще не удовлетворялась убиением Лжедимитрия. Оставалось разделаться с поляками, не менее его ненавистными. Из найденных во дворце польских музыкантов семнадцать человек были убиты, остальные восемь оставлены замертво[297]. Чернь, упоенная буйством и подстрекаемая переодетыми монахами и попами[298], бросилась к домам, занимаемым поляками. Везде, где по малолюдству своему иноземцы сии или вовсе не оборонялись, или оборонялись безуспешно, их беспощадно убивали или грабили, а жен и дочерей уводили. В особенности кровопролитие было ужасное на Никитской улице, где жили Мариниины служители. Ожесточенные москвитяне не оказывали должного праводушия даже и в отношении к тем, кои отдавались им на веру. Пан Тарло, запершись в доме своем с супругой своей, с панной Гербуртовой, и паном Любомирским, готовился защищаться, но, по убеж-

дению бывших при нем женщин, согласился положить оружие взамен данного ему от нападателей клятвенного обещания, что не будет ему причинено ни малейшего вреда. Но лишь только он выдал имеющиеся у него в доме ружья и сабли, то народ вломился к нему, убил тридцать из его служителей, других переранил и все имущество разграбил. С самого пана Тарло сорвали всю одежду до последней рубахи. Той же участи подверглись супруга его, панна Гербуртова, и пан Любомирский. Впрочем, среди неистовств самоуправия чувство сострадания не во всех сердцах угасло; некоторые из поляков были спасены хозяевами занимаемых ими домов, которые дали им способ укрыться. Также отстоялись дома воеводы Сандомирского, сына его и князя Вишневецкого, обороняемые многочисленными служителями. Первым ударам подвергался воевода по случаю соседства занимаемого им Годунова дома от дворца, но самое обстоятельство сие послужило к его спасению, ибо дало возможность находящимся во дворце дворянам вовремя прискакать на его выручку. Уже народ осыпал каменьями двор и подвез пушки для разгромления прочных стен дома, но дворяне удержали чернь и потребовали, чтобы воевода выслал от себя доверенного к боярам. Мнишек колебался, опасался подвергнуть гибели высланного, но, когда дворяне предложили ему принять в аманаты одного стрелецкого голову, то он решился пересадить через забор старшего служителя своего Гоголиньского. Призванный в Думу боярскую, Гоголинький убедился, что русские сановники не разделяют свирепой ярости своих соотечественников против поляков. Татищев от имени прочих членов думы сказал ему: «Всемогущий Бог взирает на все царства и по воле Своей располагает ими; без воли же Его ничто не может быть. Сие должно сказать о настоящем происшествии. Господь не восхотел, чтобы хищник, не царской крови, овладев нашим государством, долго утешался своей добычей. Господство его кончилось. И твой пан по всей справедливости заслуживает равную участь: он покровительствовал самозванцу, привел его в наше государство, был виной всех минувших бедствий и кровопролития; наконец в спокойной земле нарушил мир и произвел мятеж. Но Бог сохранил его до настоящего часа; да восхвалит теперь благость Господню: опасность его миновала. Иди и возвести о сем господину твоему». Сии слова, изъясняющие справедливое негодование, удержанное в пределах приличия и умеренности, успокоили воеводу. Для вящего охранения его бояре приставили к дому стражу из стрельцов.

Из всех панов только один князь Вишневецкий действительно находился готовым к отпору, ибо знал, что был предметом злобы москвичей. На занимаемом ими обширном дворе господаря Волошского он держал в сборе двести копейщиков своих. Бояре также прислали для охранения его небольшой стрелецкий отряд, но оный не в состоянии был удержать подступившие многочисленные толпы, которые ворвались было на двор, но были отогнаны ружейными выстрелами поляков. Тогда москвичи подвезли пушку и с новым ожесточением бросились к двору. Вишневецкого люди защищались храбро. Сражение сделалось упорное; одних русских пало до трехсот. Со стороны поляков урон дотоле был незначителен: стреляя из-за стен, они лишились только восемнадцать человек. Но должно было предвидеть, что им долго не устоять против непомерного числа нападающих на них обывателей.

Между тем бояре, с сокрушением видевшие, что торжество дела отечественного запятнывается кровопролитием бесполезным, прилагали все возможные усилия к прекращению оного. Они скакали из улицы в улицу, унимая народ. Князь Василий Иванович Шуйский и Иван Никитьевич Романов явились перед домом Вишневецкого, уговаривая его не продолжать бесполезного сопротивления и клятвенно обещая, что он останется невредим, если поверит им свою участь. Вишневецкий согласился на сие и впустил их к себе. Шуйский прослезился, увидев двор, устланный русскими трупами. Вишневецкого, для спасения его от ярости народной, отослали в другой дом; но чернь разграбила имущество и обобрала людей его.

Бояре присутствием своим спасли также Маринина брата, старосту Саноцкого. Впрочем, на дом его не сильно напирал народ, потому что оный только одной улицей отделялся от Посольского дворе, где находилось в сборе довольно значительное число вооруженных поляков[299].

При первом слухе о мятеже поляки заперли двор свой и обставили гайдуками забор, в намерении защищаться до последней крайности. Но более, чем оборонительными мерами, охранялись они народным правом, столь священным для москвичей, что достаточно было увещаний находящихся при послах приставов для удержания от неприязненных действий толпящихся около двора людей. Бояре, со своей стороны, желая успокоить послов, послали к ним дворянина Нащокина с товарищем. Гонсевский, вышедший для свидания с ними, стал в воротах. Нащокин, не слезая с коня, сказал: «Князь Федор Иванович Мстиславский да князь Василий и князь Димитрий Ивановичи Шуйские, и другие бояре, товарищи их, велели сказать вам, послам Сигизмунда, короля Польского и великого князя Литовского: в областях государя вашего известно было, что после смерти царя Ивана Васильевича остался малолетний сын Димитрий и жил в Угличе. Но, по греху нашему и по воле Божией, Димитрий Иванович, законный царевич наш, лишился жизни действием злых людей. Долгое время спустя Гришко Богданов сын Отрепьев, монах-дьякон, вдавшись в ересь и чернокнижство и опасаясь за то наказания, бежал в область вашего государя в Литву и там, назвавшись царевичем Димитрием Ивановичем, обманул и нас, и вас. Единоземцы ваши вступили с ним в государство Московское. Потом и мы, взбунтовавшись после смерти царя Бориса Федоровича, приняли его себе в государи. Сев на престол, он разорял государство, жил бесчинно, хотел истребить нашу христианскую веру и ввесть еретическую. Царица, которую он называл матерью, изобличила его перед боярами, и как все убедились в обмане, то долее его терпеть не хотели. Теперь не стало вора. Однако ж так как вы, послы, присланы от вашего государя, от земли к земле, то вам опасаться нечего. Бояре приказали тщательно оберегать жизнь вашу. Только предостерегают вас, чтобы вы и люди ваши не мешались со старостой Саноцким, с его людьми и с другими, не при вас находящимися, ибо ни вы к ним, ни они к вам ни почему не принадлежите. Они приехали с воеводой Сандомирским в надежде завладеть Москвой и причинили много зла русским людям»[300]. Гонсевский отвечал по-русски: «Правда, известно было у нас, что после великого государя вашего Ивана Васильевича остался сын Димитрий! Также слышно было и о том, что Борис Годунов велел его убить изменнически. Но потом, когда сей человек явился в государстве короля, его милости, рассказывая, что он именно тот Димитрий Иванович и что Бог чудесно спас его от погибели, то люди наши, жалевшие прежде о смерти Димитрия, порадовались, видя его в живых. Да и вы сами радовались, считая его истинным царевичем Димитрием Ивановичем. Ваши же русские люди и самые думные бояре посадили его на престол. Ныне, как сказываешь ты, узнав, что он самозванец, убили вы его. Нам до того дела нет – пусть Бог поможет вам по правде вашей. Мы, послы, весьма покойны по предмету нашей безопасности, ибо не только в христианских государствах, но даже и в басурманских особа послов неприкосновенна. Однако ж мы благодарим бояр за их доброжелательство. Что же касается до пана старосты Саноцкого и до других подданных короля, его милости, прибывших сюда с паном воеводой, то и они приехали не на войну и не для того, как вы говорите, чтобы завладеть Москвой, а на свадьбу, по приглашению того, кто был у вас государем, вас самих и всей земли вашей, чрез посредство посланника вашего. Они вовсе не ведали, чтобы государь ваш не был истинным Димитрием, и неистовств также никаких не делали. Если же кто из служителей причинил кому обиду, то на то есть суд: за виновного никто не стоит, только за вину одного не должны страдать все. Итак, поблагодарив думных бояр за приязнь, которую через вас нам изъявляют, просите их нашим именем строго наблюдать, чтобы не проливать кровь людей короля, его милости, ни в чем не виноватых и охраняемых существующим между обоими государствами миром.

Упаси Господи, если станут убивать их перед нашими очами! Тогда не только не в состоянии мы будем удержать челяди нашей, но сами не будем равнодушно смотреть на кровь братьев наших и согласимся лучше все вместе погибнуть. Какие же от того могут быть последствия, легко рассудить думным боярам и вам самим!» Нащокин донес боярам о слышанном им. Они для надежнейшего предохранения послов почли необходимым поставить на страже при их дворе пятисотный стрелецкий отряд[301].

Польские жолнеры не подали ни малейшей помощи погибающим соотечественникам своим. Роты Юрия и Яна Мнишковых хотя сначала и показывали некоторую готовность идти на выручку своих панов и сели на коней, но, так как заговорщики устроили завалы на улице, ведущей к занимаемому ими двору, то они не отважились преодолеть сие препятствие и до такой степени упали духом, что без всякого сопротивления позволили запереть себя на своем дворе, где у них отобрали оружие, лошадей и все имущество их[302]. Самозванцева рота, по крайней мере, не покорилась так постыдно. Она выехала из города в поле и там заключила договор, по коему получила дозволение возвратиться в Польшу, но с утратой всего имущества своего[303].

Наконец, за час до полудня прекратилась резня, продолжавшаяся семь часов. Современники не согласуются в исчислении жертв сего кровавого утра. Если верить-де Ту, основывающему рассказ свой на словах капитана Маржерета, поляков пало тысяча двести, а русских – четыреста. Поляки уменьшают урон своих единоземцев и весьма увеличивают таковой же русских. Напротив того, немецкий пастор Бер уверяет, что одних поляков убито две тысячи сто тридцать пять.

Казалось, что посредством мятежа торжествующая чернь не скоро возвратится к законному порядку и что должно было еще опасаться новых своевольств и насилий. Но Москва отличилась явлением необыкновенным. Жители ее, наказав справедливо, но свирепо и самоуправно обидчиков Отечества, мирно предались отдохновению и домашним занятиям своим. В следующую ночь целый город был погружен в глубочайшее молчание и тишину; также и на другой день не было ни малейшей тревоги[304].

Но важные заботы ожидали еще русских. Царский престол, очищенный от *вора,* находился праздным. Церковь также не имела главы, ибо потворник папежства Игнатий не мог оставаться патриархом: его отослали под начало в Чудов монастырь. Прежний патриарх Иов во время ссылки своей ослеп, и потому нельзя было ему снова вручить управление церкви. Предстояло избрать и нового царя, и нового патриарха.

Начальник народного восстания, князь Василий Иванович Шуйский, стоял уже на такой высокой степени могущества и знаменитости, что и без имени царского казался настоящим государем и что венец прародителя его Мономаха как бы сам собой ложился на главу его. Но сие самое отвращало от него бояр, желавших, чтобы избранный ими им же, а не самому себе, был обязан своим величием. К тому же должно заметить, что в самом деле, несмотря на знатность его происхождения и чрезвычайные способности устойчивого и обширного ума, воцарение его не обещало России той прочности, в коей в особенности она нуждалась после претерпенных ею бедствий. Уже в преклонных годах он был бездетным, и, следственно, должно было опасаться или новых смут, с упразднением престола сопряженных, или что наследует по нему брат его, князь Димитрий, коего за неспособность и злонравие вообще презирали и ненавидели. В сих обстоятельствах неудивительно, что многие вельможи показывали наклонность принять государя из дома Голицыных, которые после Шуйских и Мстиславского, решительно не желавшего престола, считались первейшими людьми в государств. Совершеннолетних князей Голицыных было тогда четверо: три брата родных – Василий, Иван и Андрей Васильевичи и двоюродный их брат Иван Иванович Шпак. Сей последний, хотя и старший в роде, был отстранен по причине его

ничтожности. Также не полагали, чтобы приличие дозволяло вручить державу князю Василию Васильевичу, столь обесславившему себя злодейскими действиями своими против царя Федора Борисовича. Потому все помышления друзей Голицыных устремились к избранию князя Ивана Васильевича. Но в первом пылу народной признательности к князю Шуйскому нелегко было бы убедить московских граждан предпочесть кого бы то ни было сему князю, который разделял с ними труды и опасности мятежа и которого все признавали первым виновником избавления Отечества. Для того противники его почли необходимым медлить избранием. Ими направляемая Дума боярская рассудила, что в столь великом деле нужно сослаться со всем государством и предоставить великой земской думе возвести на престол, кого целая Россия признает достойнейшим.

Но Шуйский, со своей стороны, не оставался в бездействии. Понимая, что мнение бояр, по-видимому, основанное на сущей справедливости, внушаемо было им одним недоброжелательством к его лицу, он нисколько не расположен был спокойно дожидаться, чтобы охладилась привязанность народная к нему, и потому решился немедленно обратиться к суду москвитян. Стараниями его приверженцев девятнадцатого числа в шесть часов утра купцы, разносчики и ремесленники стекались на Красную площадь[305]. Бояре, встревоженные сим скопищем, вышли также на площадь в сопровождении знатного духовенства; намерение их было отвлечь народ от избрания царя, предложив ему заняться выборами патриарха, а между тем разослать грамоты во все города Российского государства, чтобы выборные люди съезжались в Москву для назначения государя общим советом. Но народ возопил, что для исцеления отечественных язв царь нужнее патриарха и что потому сперва следует избрать царя, который уже сам назначит первосвятителя[306]. Тогда клевреты Шуйского стали разглашать, что никто не может иметь более прав на престол, как «мужественный и благородный обличитель и посрамитель нечестивого Отрепьева», присовокупляя к тому, что сам князь Василий Иванович происходит от ближайшей отрасли древнего царственного дома. В ответ им со всех сторон площади закричали: «Да будет над нами надо всеми князь Василий Иванович!» Вельможи не посмели противиться общему побуждению и сами провозгласили Шуйского царем и великим князем всея России.

Новый царь прямо с площади поехал в Успенский собор. Хотя не бояре возводили его на престол, не желая раздражить первое сословие в государстве, он не отказался исполнить данного обещания своим прежним товарищам во время составления заговора против расстриги. Прежде, нежели кто-либо из русских присягнул ему, он сам торжественно в соборе целовал крест по изготовленной записи на том, чтобы никого не казнить смертью без суда боярского, чтобы не отнимать имения у невинных жен и детей изобличенных преступников и чтобы, не давая веры тайным доносчикам, ставить их с очей на очи с оговоренными, и в случае клеветы подвергать такому же наказанию, какое закон определял за взводимое ими преступление. На другой день списки с сей важной записки посланы были во все города российские вместе с известительной грамотой о восшествии на престол нового царя и с образцовой подкрестной записью, по коей повелевалось приводить к присяге всех людей Московского государства. Также разослали повсюду и грамоту царицы Марфы, удостоверяющую о самозванстве Отрепьева[307].

Первым старанием нового правительства было очищение московских улиц от лежавших на оных польских трупов, обезображенных псами и площадными лекарями, вырезывавшими из оных жир для составления мнимо целебных мазей. Тела сии были вывезены за город и похоронены на убогом доме. Басманов был схоронен уже у церкви Николы Мокрого старанием брата его, сводного князя Ивана Васильевича Голицына. Но труп Отрепьева оставался еще на площади предметом поругания черни. В ночи с девятнадцатого на двадцатое число показалось стерегущим оный людям, что они видят около стола, на коем лежало

тело, свет, который исчезал, когда они подходили, и снова просиявал, коль скоро они удалялись. Мечта ли то была их суеверного предубеждения, или действительно являлся фосфорический свет, часто сопровождающий посредством гнилости производящееся растворение органических тел, но естественное истолкование явления не было сообразно духу тогдашнего времени. Всем казалось несомненным, что свет сей означал чародейство покойника, в чем еще более убедились на следующее утро, когда по приказанию начальства повезли тело в убогий дом за Серпуховские ворота. Лишь только миновали ворота сии, как поднялась жестокая буря, которая сорвала крышу с одной из трех башен, на воротах находящихся, и повалила деревянную городскую стену до Калужских ворот. К довершению убеждения народного в чернокнижестве Отрепьева с восемнадцатого по двадцать пятое мая настали сильные морозы, повредившие не только деревья и хлеб, но даже луговую траву[308]. Для прекращения дальнейших злотворных действий умершего колдуна почли необходимым развеять самый прах его. Двадцать восьмого мая тело его было вырыто и сожжено на Котлах. Пеплом зарядили пушку и выстрелили по Смоленской дороге, откуда самозванец пришел в Москву[309].

Хотя подробное изложение похождений Лжедимитрия достаточно доказывает его самозванство, но так как в Польше и даже в самой России есть еще люди, сомневающиеся в сей истине, то кажется нелишним представить в совокупности и тщательно взвесить все доводы, на коих могло бы основываться мнение о подлинного первого Димитрия. Писатели, поддерживающие оное, говорят: первое, что русским летописцам и шведскому посланнику Петрею, единогласно утверждающим самозванство Отрепьева, нельзя давать веры, потому что русские писали под влиянием торжествующей враждебной Димитрию стороны, а Петрей также должен был ненавидеть естественного союзника изгнанного шведами короля Сигизмунда; второе, что не заслуживают большого внимания и свидетельства многих знаменитых людей в Польше, как то: Замойского, Жолкевского и прочих, отзывающихся о нем, как о самозванце, понеже небезызвестно никому, в какой вражде польские вельможи жили друг с другом, так что достаточно было того, что Вишневецкие и Мнишек принимали Димитрия за истинного, чтобы Замойский и Жолкевский оглашали его подложным; третье, что, напротив того, современники:

Маскевич, Тованский, Маржерет и Паерле неукоснительно признают его за истинного сына царя Иоанна Васильевича, а Тованский даже подробно объясняет, каким образом он спасся от изготовляемой ему Годуновым гибели; четвертое, что невероятно, чтобы король Сигизмунд решился вступиться за бродягу, а Мнишек выдать за него дочь свою, а также, чтобы российское войско и московские бояре поддались ему, если бы действительно он не имел никакого права на присвояемое им имя; пятое, что необыкновенные на теле признаки являют его настоящим царевичем Димитрием; шестое, что, если бы он был бедным дьяконом, то негде бы ему достать богатый крест, который он показывал князю Вишневецкому, будучи еще у него в услужении; седьмое, что царица-инокиня Марфа не согласилась бы признать беглого инока за своего сына, и, по крайней мере при первом свидании, с ним происходившим при великом стечении народа, не могла бы оградиться от невольного содрогания, если бы вынужденной находилась участвовать в богомерзком обмане[310]. На все сие можно возразить следующее: первое, что не все русские летописцы писали в одном духе; например, Псковская летопись очевидно не благоприятствует ни Шуйскому, ни с воцарением Романова торжествующей стороне, но и сия летопись свидетельствует о самозванстве Отрепьева; второе, что гадательно приписывать одной, ничем, впрочем, не доказанной, ненависти к Мнишеку и Вишневецким мнение государственных мужей, каковыми были Замойский и Жолкевкий, отнюдь не сообразно с правилами здравой критики; третье, что польские шляхтичи Маскевич и Товянский, француз Маржерет, приближеннейший из слуг самозванца, и аугс-

бургский купец Паерле, утративший в Москве во время мятежа привезенные им под покровительством поляков товары, нисколько не могут почитаться беспристрастными свидетелями и что, напротив того, по естественной наклонности к самозванцу они должны были выдавать его за истинного царевича; к тому же Товянский в рассказе своем очевидно баснословит, ибо уверяет, что Димитрий, спасенный от убиения в Угличе, нашел убежище на Украйне, у жившего там в ссылке отца своего крестного, князя Ивана Федоровича Мстиславского, хотя князь сей никогда на Украйну ссылаем не бывал и умер в Кирилловском монастыре в 1586 году, то есть за пять лет до несчастного углицкого происшествия; четвертое, что король польский, увлеченный иезуитами, мог полагать, что государственная польза требовала от него поддерживать соперника Годунова, хотя и без внутреннего убеждения о действительности прав сего соперника. Мнишек также не должен был оказывать большой разборчивости в признании царского происхождения в том, кто дочь его сажал на московский престол; впрочем, замечательно, что старый воевода в душе своей не сомневался в самозванстве своего зятя, ибо в противном случае он не упустил бы еще в Самборе совершить брак Марины и таким образом упрочить на главе ее царский венец в случае успеха зятя, тем паче, что если бы даже и неудача постигла Димитрия, то и тут для Марины большая бы честь была оставаться супругой или вдовой московского царевича. Но видим, что Мнишек не иначе допустил брак дочери, как по воцарении самозванца в Москве. Что же касается до подданства российского войска и такового же московских бояр, то первое было делом не убеждения, а измены Басманова, подкрепляемой общей ненавистью к дому Годуновых, а второе вынуждено восстанием прельщенных или застращенных жителей столицы; пятое, что одинаковые признаки на теле часто встречаются на людях, не имеющих никакого сродства между собой, и сия игра природы могла бы только подкрепить другие доказательства, если бы таковые существовали, а нисколько не заменяет совершенный недостаток оных; шестое, что богатым крестом легко могли снабдить самозванца направлявшие его иезуиты; и, наконец, седьмое, что царица Марфа, по собственному объявлению своему, признала самозванца за своего сына единственно страха ради и что, впрочем, первое свидание ее с Отрепьевым происходило не всенародно, а наедине, в шатре с глазу на глаз.

Объяснив неосновательность всех приводимых доводов в пользу Лжедимитрия, остается еще напомнить два важных обстоятельства, которые, кажется, достаточно отстраняют всякое возможное сомнение насчет самозванства его. Первым мы обязаны самому Отрепьеву. Воссев на московском престоле и спокойно обладая всем государством, он неминуемо обязан был обнародовать все подробности своих похождений и, как справедливо замечает знаменитый сочинитель «Истории государства Российского», указать своих воспитателей и хранителей и места своего убежища в течение двенадцати лет. Не сделав сего, он сам перед современниками и потомством изобличил себя в обмане. Нельзя полагать, чтобы сие обнародование им было сделано, но до нас не дошло; ибо если бы и допустить, что хотя прочие манифесты Лжедимитрия уцелели в наших архивах, но что именно сей любопытнейший из всех актов утратился, то, по крайней мере, польские послы не упустили бы сослаться на оный в прениях своих с русскими боярами. Другое обстоятельство, почти равносильное первому, открывает нам Бер. Сей живший в Москве немецкий пастор, очевидно недруг русским и приятель полякам, сознает, однако, самозванство Лжедимитрия и основывает мнение свое на достоверном свидетельстве голландского аптекаря Клаузенда, служившего сорок лет при царском дворе, ливонской дворянке Тизенгаузен, бывшей повивальной бабкой у царицы Марфы, и даже самого боярина Басманова. Клаузенд говорил Беру, что царевич походил на мать свою, и в особенности смуглостью лица, а в Лжедимитрии никакого не видно было сходства с царицей. Тизенгаузен же, безотлучно при царице находившаяся, со своей стороны уверяла его, что сама видели Димитрия мертвым в Угличе и что, будучи ежедневно с ним, не могла быть обманута никаким подменом. Наконец, пастор удостоверяет, что сам, в присут-

ствии одного немецкого купца, спрашивал по доверенности Басманова: «Имеет ли всемилостивейший государь наш право на престол российский?», и что Басманов отвечал: «Вы, немцы, имеете в нем отца и брата; он жалует вас более, чем все прежние государи; молитесь о счастье его вместе со мной! Хотя он и не истинный царевич, однако ж государь наш: ибо мы ему присягнули, – да и лучшего царя найти не можем». При столь ясных и бескорыстных, подкрепленных всеми известными обстоятельствами похождений Лжедимитрия самозванство его не может оставаться предметом неразрешенного вопроса.

Впрочем, многие даже из числа убежденных в самозванстве Лжедимитрия не верят, однако, чтобы он был Отрепьев! Некоторые из поляков, прибывших с ним в Москву, уверяли, что он был побочный сын короля польского, Стефана Батория; но сие известие вполне опровергается тем, что польского короля сын с самого рождения находился бы в папежской вере, и потому не было бы никакой нужды иезуитам перекрещивать его, как они по собственному признанию своему сделали сие с Лжедимитрием, отправляя его в Россию; к тому же Баториев сын не мог бы так хорошо знать русский язык и так худо латинский. Сомнение не признающих, чтобы самозванец был Отрепьев, главным образом основывается на свидетельстве Маржерета, уверяющего, что он знал расстригу

Отрепьева, который был совсем другой человек, чем Лжедимитрий, и только с ним вместе прибыл в Москву. Но сие показание француза капитана объясняется известием, в Морозовской летописи помещенным, из коего видим, что самозванец приказал весьма ему преданному монаху Пимену называться Отрепьевым в надежде таким образом затмить правду.

Напротив того, доказательства, что он сам Отрепьев, ничем достаточно отведены быть не могут. Ибо если он не Отрепьев, то почему оставил без наказания злословящую его мнимую мать свою, Варвару Отрепьеву, и почему ни разу не вошел в Чудов монастырь, когда священная обитель сия всегда посещаема была благоговеющими к ней русскими царями, и когда ему самому столь важно было отстранить от себя опасную молву, гласившую, что он страшится предстать перед тамошними иноками, прежними товарищами своими.

Итак, добросовестный разбор различных мнений о расстриге неминуемо ведет к заключению, что первым Лжедимитрием в России был Отрепьев, и противоречить еще сему свойственно было бы только тем, кои, увлекаясь суетным мудрствованием, тщатся опровергать все исторические истины единственно, чтобы мыслить иначе, чем мыслили их предшественники[311].

Часть II

Глава 3
(1606–1608)

Убиение Лжедимитрия не восстановило спокойствия России! Предназначение Отрепьева на гибель своего Отечества было столь непреодолимо, что самая смерть его не только не прекратила возбужденных им неустройств, но даже подала повод к углублению зла. Правда, претерпенные бедствия истощали государство, но, по крайней мере, оставляли неприкосновенным его целость; напротив того, готовящееся междоусобие угрожало России уничтожением ее самобытности.

Одна самодержавная власть, сосредоточенная в руках мощного государя, подкрепленного единодушной преданностью первейших сословий, могла обуздать порождающуюся крамолу и обезопасить несчастное Отечество. Но какой нравственной силы можно было ожидать от Шуйского, приявшего державу царскую не по неоспоримому праву наследства, не по обдуманному выбору всей земли, а единственно вследствие шумных восклицаний преданных ему жителей одной столицы? Прочие русские города оскорблялись присвоенным Москвой преимуществом – располагать престолом, и не благоприятствовали назначенному ею государю. Должно также заметить, что в отдаленности от столицы еще многие благоговели перед памятью Лжедимитрия. Беспутные действия, коими в глазах москвичей он обличал себя в самозванстве, в пренебрежении православия и народных обычаев, оставались часто по трудности сообщения неизвестными для большого числа иногородцев, так что в уездах многие жалели о его участи и воспламенялись ненавистью к новому государю, которого почитали гнусным и вероломным цареубийцей.

Кроме сих стихий раздора и междоусобий, предстояли для царя Василия Ивановича и другие важные затруднения и заботы. Истощенная расточительностью Лжедимитрия казна была недостаточна для необходимых издержек. Знатные бояре, негодовавшие за вынуждение их согласия на воцарение Шуйского, готовились к вредным для правительства козням, душой коих был гнусный князь Василий Васильевич Голицын, мечтавший сам о престоле, по мнению его, вероломно Шуйским похищенном. Но всего опаснее представлялась для царя еще не прекращенная борьба между помещиками, силившимися удержать преимущества, дарованные им законами Годунова, и крестьянами, домогавшимися возвращения прежней свободы перехода. Удовлетворить тех и других было делом невозможным. Василий Иванович, по примеру царя Бориса, почел выгоднейшим принять сторону помещиков. Но таким образом, стараясь привлечь к себе военных людей, он неминуемо должен был, как и Борис, жестоко вооружить против себя многочисленных крестьян.

Предусмотрительный Василий, достигнувший вступлением на престол предмета своего честолюбия, чувствовал вместе и всю тягость бремени, им на себя возложенного. Он знал, что бесчисленные препятствия ожидали его на предстоящем ему поприще, но надеялся отвратить их действием строгой умеренности и расчетливого благоразумия. В истории народов встречаются несчастные времена, в кои все обращается во вред правителям, и самая их осторожность, принимая вид бессилия, питает и поощряет крамолу.

Мы видели, что Василий, желая угодить боярам и всем народу, в самый день своего воцарения торжественно дал клятвенное обещание, обуздывающее клевету и ограждающее личность и право собственности всех и каждого. С другой стороны, имея в виду известную ему всеобщую ненависть к брату его, князю Дмитрию Ивановичу, он не вывел ни его, ни

другого брата своего, князя Ивана, из среды прочих подданных своих, и оба они остались на прежних местах в Боярской думе, уступая первенство князю Мстиславскому, а князь Иван даже и многим другим боярам. Но и то, и другое действие, вместо того, чтобы умножить число царских приверженцев, имели вредное влияние на общее мнение. Говорили, что Василий покупал царство снисхождениями, несовместными с достоинством законного государя, что ограничением своей власти он, вопреки старинным обычаям, ослаблял силу самодержавия именно в такое трудное время, когда правительству столь нужно было явиться крепким, и, наконец, что, не приблизив своих родных к престолу, он явно признавался, что сам мало имел права на оный[1].

Несмотря на сии толки, Василий не только оставался в пределах умеренности, им себе предначертанных, но даже тщательно соблюдал данное им при составлении заговора против расстриги князьям Голицыну и Куракину обещание никому не мстить за прежние вины и управлять государством общим советом[2]. Таким образом, бояре сделались равносильными царю, и правительство, лишенное единства воли, утратило вместе с тем и власть, необходимую для общего блага. С другой стороны, водворилась безнаказанность, поощрительная для одних преступников. Никто из злейших сподвижников самозванца не был казнен, и даже весьма малое число из них были удалены. Таким образом, первый сановный изменник в пользу Отрепьева, боярин князь Василий Михайлович Рубец-Мосальский, и казначей Афанасий Власьев были отправлены на воеводства: первый в Корелу, а другой в Уфу; также боярин Михайло Салтыков получил начальство в Ивангороде, а боярин Богдан Бельский послан на службу в Казань[3]. Но никто из трех бояр не лишился сего знатного сана[4]. Все выказывало бессилие правления, предвещавшего развитие новых крамол.

Духовенство оставалось еще без главы. По повелению царя находящиеся в Москве российские епископы собрались двадцать пятого мая для назначения патриарха[5]. Единогласный выбор их пал на митрополита Казанского Гермогена, сосланного Лжедимитрием за непреклонную его приверженность к уставам истинной церкви. Никто не мог иметь более права на первосвятительское место, как сей неустрашимый мученик православия.

Но несомненная добродетель сего ученого и велеречивого пастыря несколько затмевалась некоторыми недостатками[6]. Чуждаясь всякой снисходительности, он излишней строгостью приводил в отчаяние прибегающих к его милосердию. С другой стороны, он оказывался доступным для наушников, которые часто успевали даже его ссорить с царем. Таким образом, несмотря на благие намерения свои, он усеивал новым тернием стезю, по коей предназначено было следовать государю. Впрочем, мы увидим, что, когда опасности, угрожающие престолу, усугубятся, то Гермоген явится во всем блеске своей святости и крепким словом своим будет отстаивать по возможности гибнущего царя.

Первого июня новый государь венчался на царство в Успенском соборе; священнодействовал Исидор, митрополит Новгородский, за отсутствием еще не прибывшего в Москву патриарха[7]. Церковные обряды были соблюдены во всей точности, но без всякой пышности. Василий, коего природная бережливость часто доходила до скупости, не хотел истощать скудную казну свою издержками, по мнению его, бесполезными[8]. Но не должно было считать бесполезным, что могло придать достойное величие первому из государственных торжеств! В особенности Василию тем нужнее было явить себя во всем блеске царского величия, что наружность его не имела величавости. Люди, привыкшие к роскоши расстриги, смотрели с некоторым пренебрежением на малорослого, слеповатого, угрюмого старца, бедно принимающего славный венец Мономаха.

Между тем разные неблагоприятные для царя вести распространялись в столице. Иные шептали, что Димитрий еще раз избавился от своих губителей и находится в живых; другие уверяли, что бояре ищут случая вручить державу тому, кто по знатности своей имел на

оную более права, чем Василий[9]. Но знатнее Шуйского в России могли только почитаться князь Мстиславский и зять его слепой инок Стефан, бывший царь Симеон. Василий решился сослать еще далее Стефана, жившего в Кирилловском монастыре; его отправили в Соловецкую обитель[10]. Мстиславского же не тронули. Опасался ли царь возбудить против себя негодование Боярской думы, где Мстиславский был первенствующим лицом, или не полагал ли, что сей вельможа, которого он знал хорошо, сам искренно отвергнет всякие честолюбивые ковы, сплетаемые в его пользу?

Слухи о Димитрии еще более тревожили царя. Первый повод к оным подал Михайло Молчанов, один из убийц царя Феодора Борисовича[11]. Злодей, страшась заслуженного им наказания, в то самое утро, как погиб Лжедимитрий, вывел из царской конюшни трех турецких лошадей и бежал из Москвы в сопровождении двух поляков. Неизвестно, с какого умысла он на пути стал выдавать себя за убитого самозванца; может быть, видя, что сельские жители жалели о Димитрии, он надеялся под его именем найти более удобности к своему проезду. Как бы то ни было, прибыв в Серпухов, он дал горсть денег одной немке, вдове, у которой обедал, и сказал ей, что она угощала царя Димитрия, вместо коего по ошибке москвитяне убили другого человека, и что Димитрий скоро воротится с сильной ратью. Беглецы, переправляясь через Оку, близ Серпухова, дали перевозчику шесть злотых (столько же нынешних серебряных рублей) и также уверяли его, что он перевез Димитрия, царя всероссийского. Потом, продолжая следование свое до польских пределов, везде по дороге разглашали о мнимом спасении Димитрия.

Нелепость нового лжесвидетельства была очевидна. Самозванец был убит не ночью, а днем, не тайно, а всенародно, в глазах бояр, московских обывателей и самих иностранных стражей его, три дня тело его позорно лежало на площади. Не представлялось ни малейшей возможности сомневаться в его смерти. Несмотря на то, не только в уездах, но и в самой столице молва о его спасении распространялась. Некоторые действительно верили по безрассудному легкомыслию, подкрепленному врожденным пристрастием к чудесному; но еще более нашлось притворствующих, коих вся вера заключалась в тайной надежде на новый предлог к своевольству и мятежам.

Царь, желая разуверить слабоумных и удержать злонамеренных, решился в борьбе своей с тенью Димитрия опираться на важное свидетельство православной церкви. По повелению его Филарет, митрополит Ростовский, Феодосий, епископ Астраханский, архимандриты Спасский и Андроновский и бояре князь Иван Михайлович Воротынский, Петр Никитьевич Шереметев и Андрей Александрович и Григорий Федорович Нагие отправились в Углич для вырытия тела царевича Димитрия и привезения оного в Москву[12]. По вскрытии гроба тело оказалось нетленным, и российская церковь сопричла к лику святых невинно закланного царственного младенца. Третьего июня мощи ввезены были в Москву; царь встретил их с иконами и крестами за воротами Белого города, при многочисленном стечении народа, и, приняв раку, понес ее на плечах своих до Архангельского собора. Там между толпившихся набожных москвитян явилась царица-инокиня Марфа и, винясь перед целой Россией в том, что *страха и прельщения ради* потворствовала самозванцу, торжественно просила царя велеть отпустить ей грех, тяготящий ее совесть. Василий объявил ей прощение в уважение памяти ее супруга, царя Иоанна Васильевича, и сына, нового угодника. Известительные о том грамоты разосланы были во все города. Василий воспользовался сим случаем, чтобы повсеместно огласить преступные замыслы самозванца против благоверия и русской народности. К грамотам приложены были список с записи, данной Отрепьевым Мнишеку в Самборе, и извлечения из переписки его с римским двором и духовенством[13]. Изобличая, таким образом, Лжедимитрия в намерении раздробить государство в пользу всегдашних врагов России и заменить в ней православие папским лжеверием, Василий надеялся поселить

сильное отвращение к нему во всех русских сердцах. Но в мятежные времена часто гнусные страсти берут верх над очевидностью убеждения! Самое проклятие, по повелению царя провозглашаемое во всех церквах памяти Григория Отрепьева, как злейшего еретика, мало действовало на людей, коих личные выгоды согласовались с торжеством самозванства.

Среди сих забот Василий занимался еще отвращением пагубных следствий предугадываемого озлобления короля польского за убиение столь многих из его подданных. В несчастном положении, в коем находилась Россия, трудно бы ей было с успехом вести открытую войну с Польшей. Царь, стараясь ослабить негодование поляков, принимал все благоразумные меры для охранения их жизни и свободы. Марину отпустили домой к отцу ее. Всех жолнеров и простолюдинов польских отправили безвредно за границу, отобрав, однако, у них оружие и лошадей[14]. Оставили в Москве только около триста челядинцев для прислуги семейству Мнишеков и прочим знатным панам, коим неосторожно было бы позволить возвратиться в Польшу прежде получения успокоительных известий о дальнейших видах польского правительства[15].

Жолнеры отправились в поход двадцать третьего мая, а четыре дня спустя польские послы приглашены были во дворец, где вместо прежнего блеска и великолепия видели скудость и уныние; не было ни телохранителей, ни стрельцов, ни богато убранных чиновников[16]. Послы, введенные в Золотую палату, нашли там сидящих бояр: князя

Мстиславского, князей Дмитрия и Ивана Шуйских, князя Трубецкого, Романова, князей Василья, Ивана и Андрея Голицыных, Михайлу Нагого и окольничего Татищева. За ними стояло еще много менее знатных чиновников. Когда и послы сели, то князь Мстиславский прочел следующую бумагу: «В недавнем времени, как нам и вам известно, по смерти блаженной памяти царя Иоанна Васильевича, нашего государя, остались два сына: один царь Феодор, христолюбивый, богоугодный, счастливо, покойно и в изобилии всех благ царствовал над нами; другой, царевич Димитрий Иванович, в младенческих летах получил себе в удел город Углич с иными городами и волостями. Ему довелась смерть по умыслу царя Бориса, бывшего правителем при царе Феодоре и имевшего уже намерение завладеть Московским царством, ибо царь Феодор был бездетен. После кончины царя Феодора соделался царем в целом государстве царь Борис, к которому король ваш Сигизмунд присылал великих своих послов пана Льва Сапегу, канцлера великого княжества Литовского, со товарищи. Сии заключили между обоими государями и государствами двадцатилетний мир, утвержденный присягою с обеих сторон. Потом, по бесовскому наущению, Гришко Богданов Отрепьев, чернец, дьякон, вор, за чернокнижство приговоренный к наказанию святыми соборными отцами, бежал в землю короля, вашего государя, и там приняв имя царевича Дмитрия Ивановича, представился Сигизмунду, королю вашему. Мы, думные бояре, услышав, что тот вор в Литве, послали к литовским сенаторам с письмом нашим Смирного-Отрепьева, родного дядю того вора, дабы уличить его и доказать сенаторам вашим, что он не есть тот, за кого себя выдает. О том же патриарх и епископы наши посылали и писали архиепископам и епископам вашим. Но король ваш Сигизмунд и паны рады его, отвергнув наши известия и забыв утвержденные присягой условия, коими постановлено до истечения срока договора не помогать никакому неприятелю ни деньгами, ни людьми, поверили тому вору, дали ему и деньги и людей и отправили пана Юрья, воеводу Сендомирского, с многочисленным войском в пределы Московского государства. Когда же вор пришел с польскими людьми в Северскую землю, то несмысленная чернь поверила тотчас ему и сдала ему многие города, связав начальствующих там воевод. Наконец по изволению Божию умер царь Борис; вор же, при помощи вашего короля и ваших людей, овладел столицей и целым царством и хотел всех нас людей знатного рода истребить, а веру нашу христианскую уничтожить. Пришедшие с воеводой Сендомирским жолнеры делали русским людям всякие обиды и даже отни-

мали жен у мужей. Царица и великая княгиня, мать истинного Димитрия, хотя сначала от страха и признала самозванца за своего сына, но потом объявила нам, что он вор. И мы, не стерпев долее над собой такого вора, убили его. Чернь же, раздраженная претерпенными от вас оскорблениями, бросилась на ваших людей без нашего ведома, и следствием того было великое кровопролитие. Вся же смута сия произошла от короля вашего, от панов рады его и от вас, что вы нарушили крестное целование и мирное постановление. Теперь же, по милости Божией, с согласия всех чинов, духовенства, бояр и всех людей сделался московским царем всея России Василий Иванович, который, как милосердый и мудрый государь, жалеет о таковом разлитии христианской крови и приказал всех ваших низшего состояния людей, здесь еще не в малом количестве оставшихся в живых, отправить со всем имуществом их в литовские пределы. Все сие мы вам, послам, объявляем, дабы вы усмотрели неправду короля вашего государя и государств его и что вы действуете не по-христиански».

По окончании чтения послы отошли в сторону и посоветовались между собой. После чего пан Гонсевский, лучше своего товарища знавший русский язык, отвечал по-русски в следующих выражениях: «Выслушав читанную вами речь, просим сообщить ее нам письменно и тогда будем также на бумаге пространно отвечать. Теперь же довольствуемся вкратце сказать вам следующее. Известно было и в государстве короля пана нашего, что после великого государя вашего, Иоанна Васильевича, остался еще сын Димитрий, в младенческих летах, и что ему Углич дан был в удел. Потом слышно было и то, что его сгубил Борис, и о том наши поляки, как люди христианские, весьма соболезновали. После того тот, кого вы не признаете Димитрием, пришед из Москвы в государство короля его милости, доказывал многими вероятия заслуживающими доводами и признаками на теле, что он истинный Димитрий Иванович, Господом Богом чудесно спасенный от жестокости Бориса, присовокупляя, что Борис коварно и тайно извел великого государя своего Феодора Ивановича и дитя, которое царь сей имел от жены своей, а его, Борисовой, сестры, и что Борис сильно угнетает Московское государство, разоряет и истребляет знатные домы и вас, думных бояр, и всех вельможных людей держит в такой неволе, что вам не остается ни малейшего способа к спасению. Мы не сомневались в злостных действиях Бориса, потому что слышали об них и от других людей вашего народа. Вы сами часто, разговаривая с нами, также отзывались об нем, да и теперь в читаной нам речи свидетельствуете о свирепстве и вероломности Бориса, посягнувшего на жизнь природного своего пана. Впрочем, ни король, его милость, ни подданные короля, его милости, сначала не поверили словам пришельца, и долгое время оставался он у нас в пренебрежении, пока не собралось к нему из разных городов несколько людей из московского народа, которые единогласно признавали его за истинного царевича Дмитрия Ивановича. Когда же с сими людьми он предстал пред короля, его милость, то и тут король не убедился еще, чтобы он был настоящий царевич Димитрий; но с другой стороны, вспоминая о непостижимости судеб Божиих и находя много примеров в истории, что королевские и царские дети, на жизнь коих злые люди посягали для похищения их престола, были охраняемы от Господа Бога чудесной Его силой, и восстановляемы на принадлежащий им престол, и также принимая в соображение известное ему лукавство Борисово и злобу его, доказанную тесным и продолжительным задержанием королевских послов, король изволил рассудить, что нет причины презирать мнимого Димитрия, ни заключать его в темницу. Однако, уважая клятвенные договоры между государей и государств, которые король, его милость, как набожный христианский государь, свято наблюдает со всеми соседями своими, он не счел приличным за Димитрия вступать в войну с вами и предоставил все дело воле Божьей, полагая, что если он не обманщик и действительно Божий Промысл чудесным образом спас его от смерти, то что тот же Промысл возвратит ему престол его прародителей. Король не отправил с ним гетманов своих, ни коронного, ни литовского, чрез коих обыкновенно король, его милость, и Речь Посполитая ведут войну с

неприятелем, и также войск своих с ним не посылал. И тот царевич в нашем государстве почитался не столько за царевича, сколько за нищего, и многие богобоязливые люди давали ему милостыню Христа ради, как и вы, будучи христианским народом, так же поступаете с бедными. Друзья же, из коих и пан воевода Сандомирский, человек прямодушный, поверив, что он истинный царевич, согласились по просьбе его и окружавших его москалей следовать за ним в малом числе до московской границы. Он и бывшая с ним москва уверяли, что их за границей московские люди радостно примут с хлебом и солью и сами сдадут ему города, как природному государю своему. Если же бы не так случилось, то пан воевода с поляками воротился бы с границы, дабы не нарушить существующего договора. Когда же таким образом подошли к московской границе, то московские люди выходили еще за границу, встречая его, как он предсказывал, хлебом и солью. Муромск и Чернигов сдались ему добровольно, и от того наиболее утвердилась между поляками вера, что он истинный Димитрий. Хотя же и получены были письма от имени думных бояр к панам сенаторам литовским и от именно духовенства вашего к духовенству коронному, но москва, находившаяся при том, кого признавала за своего царевича, известила, что те письма посланы были самим Борисом, без ведома вас, думных бояр, и вашего духовенства. Посему король, его милость, и паны сенаторы, не пособляя и не мешая ни в чем ни той, ни другой стороне, оставались в наблюдении, ожидая окончания дела от правосудия Божия. Когда же некоторые москали стали упорствовать в Новгороде-Северском и Борис, уведомляя короля чрез Посника Огарева, что человек сей не Димитрий, а называется, как и вы теперь удостоверяете, Отрепьевым, напоминал о мирном постановлении, то король, не желая нарушать договора после такового отзыва Бориса, приказал послать строгие свои универсалы к пану воеводе Сандомирскому и к прочим полякам, под Новгрудком стоявшим, чтобы они далее не оставались при сем человеке и тотчас же возвратились в Польшу. Тогда остались только при нем ваши донские казаки, некоторая часть запорожцев и другие московские люди[17]. Но и после отъезда пана воеводы Сандомирского многие города, отложившись от Бориса, признали царевича за своего государя. По смерти же Бориса, оставившей вас без государя, король, его милость, ожидал, что вы, пользуясь свободой и не претерпевая более принуждения ни от Бориса, ни от противной стороны, доставите ему, королю, достоверное сведение о прямой истине. Но тут все ваше лучшее московское войско, стоявшее под Кромами, князья, воеводы, знатные люди, дворяне передались царевичу добровольно, поклонились ему, как своему государю, и повели его сюда в столицу. Вы, бояре, хотя Димитрий еще далеко был от столицы, жену Борисову и сына его посадили в темницу, а сами все, как князь Мстиславский, так и князь Шуйский и прочие, выехали к нему на встречу за 30 миль от Москвы и, признав его за своего государя, присягнули ему. Проводя же сюда его в столицу, вы же его короновали. Затем ваши посланники в бытность свою у нас, да и вы сами здесь непреставали говорить, что невозможное дело, чтобы наши люди посадили его на московский престол, но что вы сами приняли его добровольно. Потом он прислал к нам посланником Афанасия Власьева, знатного московского чиновника, который уже от Бориса посылаем был к королю, его милости, к цесарю и в другие места. Посланник сей, имея при себя многих московитских дворян, вручил королю, его милости, письма за здешней московской печатью, благодарил за хлеб-соль и все доброжательство, коими Дмитрий пользовался в областях короля, его милости, и, свидетельствуя о желании его, чтобы вечная дружба существовала между королем и Речью Посполитой и им и Московским государством, просил, дабы король, его милость, дозволил пану воеводу Сандомирскому выдать за него дочь свою. Король, его милость, как государь христианский и набожный, желая, чтобы его государство и Московское взаимно укрепились против врагов святого креста, и после таковых ваших заверений не сомневаясь более о роде его, охотно дал свое соизволение на брак. Афанасий обручился с дочерью пана Сандомирского воеводы именем того, о коем все утверждали, что он был истинный Димитрий. Тот же Афанасий и

другие посланные отсюда из Москвы, от него и от вас, благодарили пана воеводу Сандомирского за оказанное ему в имении воеводы доброжелательство. Потом пан воевода привез дочь свою сюда; король же, его милость, отправил посольство на свадьбу и для постановления вечного союза. Московские знатнейшие сенаторы, князь Василий Мосальский и Михайло Нагий с немалой свитой, встретили пана воеводу и дочь его на границе и проводили до столицы. Вы, бояре, еще в палатках за городом поздравили ее и приняли как свою государыню. После того с общего согласия она была торжественно коронована патриархом и владыками вашими по вашему обряду. Нас, послов, также встретили перед Смоленском, и, после обыкновенных приветствий, приставы провожали нас до самой столицы. Посольство мы отправляли торжественно и с вами бывали на совещаниях. Вы нам вовсе не говорили, чтобы он не был истинным Димитрием. Ныне же, убив его, вдруг, вопреки ваших речей и клятв, сами себе противоречите и неправедливое нарекание наводите на короля, его милость. Все остается на вашей ответственности; мы же ничего не возражаем против его убийства, потому что и жалеть об нем не имеем причины. Сами вы видели, как он принял меня, старосту Велижского, когда я был у него в первый раз посланником от короля, его милости, и теперь нас обоих, и до какой спеси он дошел, требуя новых титулов, упуская короля, его милость, называть королем и отказываясь от принятия королевских писем. Мы только тому не можем надивиться, что вы, думные бояре, люди (как полагаем) разумные, позволяете себе в сих делах самим себе противоречить и безвинно упрекать короля, его милость, того же сообразить и рассудить не хочете, что тот человек, который именовался истинным Димитрием и которого вы называете ложным, был природный москвитянин и что не наши о нем свидетельствовали, а ваши москали, встречая его перед границей с хлебом и солью; москва сдавала города; москва ввела его в столицу, присягала ему на подданство и короновала его своим государем. Сказать одним словом: москва начала, москва и совершила, и вы никого в том упрекать не вправе. Мы только о том сетуем и сокрушаемся, что побито столь много знатных людей короля, его милости, которые о том человеке с вами никакой ссоры не имели, на упоминаемой вами войне не были, жизнь его не оберегали (ибо охранение себя он вверил вашим людям), о убийстве его не знали и под ручательством договоров оставались на своих квартирах. Кровь их разлита, а великое имущество разграблено. Мы смело все бы сие отдали на суд жесточайшего врага короля, его милости, и Речи Посполитой и твердо уверены, что всякий благоразумный человек посудит, что вина вся ваша. Мы полагаем, что с нашей стороны договор ни в чем не нарушен. Что касается до пролития крови братьев наших, в чем вы обвиняете чернь, мы надеемся, что будет учинена расправа и виновные получат достойное наказание, тогда следовать будет нам, принимая ваши извинения, отнесть несчастный случай сей к греху и Божиему попущению, а вам пана воеводу Сандомирского с дочерью и прочими людьми короля, его милости, отпустить с имением их, при нас, послах, в государство короля, его милости, и о том советуем вам бить челом своему нынешнему государю, для собственной вашей пользы и спокойствия. Мы также, воротясь к королю, его милости, будем стараться, чтобы не разрывать мира до постановленного срока».

Выслушав все сие с величайшим вниманием, бояре еще сидели несколько времени, в молчании поглядывая друг на друга. Казалось, все довольны были речью Гонсевского. Наконец встал Татищев, подошел к князьям Мстиславскому и Шуйским, посоветовался с ними и, возвратясь на свое место, стал говорить почти то же, что читал Мстиславский, присовокупляя только, что за неправды поляков Бог карает их междоусобными раздорами и навещает то ханом татарским, то Карлом шведским и что сам Сигизмунд трепещет за жизнь свою среди подданных. На сие Гонсевский возразил в следующих выражениях: «О домашних раздорах, о коих упоминаете, мы ничего не знаем и не верим сему известию. Правда, будучи народом вольным, мы привыкли говорить вольно. Но чтобы жизнь короля, нашего государя, находилась в опасности среди подданных его, это сказки пустые и для самого слуха нашего отвра-

тительные. Честный народ наш всегда хранил верность своим государям и теперь хранит ее королю, его милости, пану набожному, мужественному и счастливо над нами царствующему. Прошлогодней осенью татары ворвались было в королевскую Украйну, но будучи поражены в двух битвах и потеряв много людей, вынуждены были со стыдом оставить владения короля, его милости. Уповаем на Бога, что и ныне враг не будет иметь более успеха, ибо и в прежние времена, когда он переступал границу нашу, то всегда был отражаем королевскими войсками и никогда не уходил без урона. Татары никогда не могут ворваться далеко во владения королевские, и хотя иногда вторгаются, как разбойники, в Украйну, но всегда встречают королевское войско. У нас не по-вашему! Давно ли, при Иоанне Васильевиче, они сожгли сей столичный город! А при Феодоре Ивановиче также дымили вам под стенами Москвы и опустошали ваше государство. Вы напоминаете о Каролюсе: как разбойник, он нападает с моря на Лифляндскую землю, а когда приспевают войска короля, его милости, то он обратно уходит в море. Когда же случалось ему сражаться, то всегда слабые отряды королевские обращали в бегство многочисленные войска его. Вам самим, по соседству с владениями короля, его милости, все сие достаточно известно. Весьма удивительно нам, что вы свои дела превозносите до небес, а нас ставите ниже земли. Не худо бы вам вспомнить, с какой надменностью Афанасий говорил от имени Бориса королевским послам и как скромно отвечал ему пан канцлер литовский. Что же стало с гордым Борисом? Вы сами знаете. А король, государь наш, как боящийся Бога, счастливо царствует над нами, и он и государство его находится в безопасности. Оттого лучше было бы вам и на деле, и в речах поступать с нами по-братски, а не стращать нас. Ибо сами вы знаете, что мы не упрекаем вас в домашних ваших неустройствах и не охотники грозить, но что зато и ваших угроз не побоимся».

Бояре весьма негодовали на Татищева, что без нужды подал повод к новым обоюдным укорам. Желая обходительнее окончить переговоры, Мстиславский, Шуйские и сам Татищев стали ласковее обращаться с послами и говорили им: «Все сделалось по грехам нашим. Этот вор обманул и вас, и нас». Указывая же на царицына родного брата, Михайлу Нагого, прибавляли: «Спросите его сами, и он вам скажет, что тот не был Димитрий. Настоящий Димитрий похоронен в Угличе. Митрополит Федор Никитич с архиереями отправился туда и привезет сюда тело его. Слова ваши об отпуске вас и всех поляков донесем великому государю нашему, а нынешнюю речь нашу доставим вам на бумаге. Когда же узнаем государскую волю, дадим вам ответ».

Послы радостно возвратились на свой двор в надежде скорого отпуска. Но тщетно они три дня ожидали оного. Напротив, тридцатого мая приставы их, князь Волконский и дьяк Иванов, объявили, что царь решился послать их самих посланниками в Польшу и вместо их назначает приставами князя Ивана Борятинского и дьяка Дорофея Брохню. Назначение новых приставов смутило послов, ибо легко было понять намерение русского правительства не выпускать их из рук своих на неопределенное время. Для отвращения сего они написали боярам, что дальнейшее задержание их может породить в Польше сомнение насчет их безопасности и побудить поляков к начатию военных действий, а потому для блага обоих государств они настаивают о скорейшем отправлении своем[18].

Василий, напротив того, не хотел отпускать послов и знатных поляков, пока не уверится в миролюбивых расположениях польского двора. Задержанные аманаты, принадлежа по родству к сильнейшим в Польше домам, действительно могли иметь влияние на решение тамошнего правительства. Справедливо можно было предполагать, что для выручки их Речь Посполитая окажет снисхождение и податливость в сношениях своих с новым царем.

Пятого июня Татищев и дьяк Василий Телепнев приехали к послам с боярским ответом. Татищев, снова обвиняя короля и Речь Посполитую, в подкрепление своих упреков и в доказательство готовности поляков способствовать раздроблению государства и разорению православия показал список с Самборской записи, по коей самозванец отдавал Марине Нов-

город и Псков, и письма короля, легата и кардинала Малагриды, в которых король сам величался тем, что посредством поляков своих посадил Лжедимитрия на московском престоле, а легат и Малагрида убеждали самозванца строить в Москве римские костелы и стараться об исполнении данного им клятвенного обещания касательно распространения папежства в России. В заключение Татищев объявил от имени бояр, что после таковых неприязненных поступков невозможно отпустить ни послов, ни прочих поляков, пока отправляемое в Польшу послание не возвратится с удовлетворительными объяснениями.

Олесницкий отвечал: «Слышав речь князя Мстиславского, мы уже объявили, можно ли приписывать всю вину королю и народу польскому? Более рассуждать о сем предмете считаем излишним. Что же касается до заключенного прежним вашим государем с воеводой Сандомирским договора, мы думаем, что напрасно о сем напоминаете: более себя стыдите, чем нам вредите. Пан воевода, уверяясь на свидетельстве ваших же московских людей, решился выдать за Димитрия дочь свою; согласившись же на брак, он должен был устроить как можно выгоднее участь дочери своей. Потому и вовсе не удивительно, что он выпросил у покойника такие условия, но исполнение зависело от вас. Когда пан воевода приехал сюда, покойник советовался со всеми вами, думными боярами, какое назначить содержание супруге своей, на случай, если бы, по воле Божией, он скончался прежде нее. Вы сами дали ей более, чем Новгород и Псков, ибо согласились признать ее за наследственную государыню себе и всему Московскому государству, и еще до коронации вы, думные бояре, со всеми знатнейшими людьми присягнули ей на верность подданства. Что касается до письма легата и кардинала, то и тут нечего удивляться: это не новость. И прежде, при заключении договоров на вечный мир между нашим и вашим народом, в числе прочих условий поставляемо было о дозволении русским служить в Польше и Литве, вступать там в брак, приобретать имения, в оных ставить русские церкви и свободно исправлять свою веру; равномерно и наши люди, служащие в Москве, имели право приобретать маетности и в оной, а также и в городах, иметь римские костелы и отправлять богослужение по своему обряду. Святой отец папа римский, как наместник святого апостола Петра, обязанный заботиться о размножении хвалы и славы Божией, желал включить сие в наши условия для упрочения вечной дружбы между нами и вами, и дабы от того поганская рука ослабела, а христианская укрепилась. В рассуждении же того, что сказано в письме короля, его милости, что будто бы бывший ваш государь посажен был на престол по милости короля и помощью его людей, то вы же сами через князя Татева, Афанасия Власьева и других посланников, к королю отправляемых, приписывали сию честь королю, его милости, и за то благодарили его. За тем непристойно было королю противоречить вам и следовательно должно было отзываться о сем согласно воле и мнению вашему. Что же вы однажды признали приятным и выгодным, того самим вам вновь осуждать не годится. Стыдитесь, Михайло, противоречить самим себе! Все дело шло, как мы недавно объяснили боярам. Вы сами начали, вы и совершили. Нас, послов короля, его милости, никакой причины не имеете здесь задерживать. Если останемся здесь по вашему принуждению, то останемся в виде пленников. А пленять посланников не водится не только в христианских, но даже и в поганских государствах».

Татищев еще говорил и спорил несколько времени и, между прочим, сказал: «Мы получили известие, что в Польше и Литве происходят великие раздоры между сенатом и народом, что царь Крымский с многочисленным войском вторгнулся в королевские владения, что сам король выступил против него в поход и что война идет и в Лифляндии». Послы отвечали: «Кому что нравится, тот и мечтает о том!» Наконец, Татищев с товарищем откланялись и поехали с донесением к царю.

Послы чрезмерно огорчались задержанием их в Москве, особенно грустил Олесницкий, который по отъезде Татищева упал даже в обморок. На другой день они писали боярам, жалуясь на сделанное им принуждение. Бояре отвечали, что присланный к царю Иоанну

Васильевичу послом литовский канцлер Сапега, не застав сего государя в живых, не решился отправить посольство свое перед наследником его Федором Ивановичем, а ожидал от короля своего Стефана нового наставления. Послы возразили, что тот случай нельзя было применить к настоящему, потому что известие о смерти Иоанна застало еще Сапегу в Можайске, и, следственно, прежде представления им верительной грамоты, и что оттого единственно Сапега не хотел ехать в Москву без разрешения короля.

Окончательные объяснения послов с боярами происходили десятого июня. Послы, призванные в Боярскую думу, жаловались на бесчестье, причиняемое королю и Речи Посполитой задержанием их, послов, и прочих поляков. Бояре решительно объявили, что царская воля есть всем им оставаться в Москве до возвращения отправляемого к королю посланника и до тех пор, пока не восстановится желаемое согласие между обоими государствами. Несколько дней спустя князь Волконский и дьяк Иванов выехали из Москвы в Краков с поручением объявить Сигизмунду о восшествии на престол царя Василия Ивановича и жаловаться на данное Отрепьеву вспомоществование вопреки существующим договорам.

Но преждевременно царь опасался войны с королем. Раздоры, о коих бояре по слухам говорили послам, действительно волновали Польшу, и Сигизмунд находился вне возможности предпринять что-либо против России. Василию суждено было претерпевать первые бедствия своего царствования не от внешних, а от внутренних врагов. Грозные тучи надвигались уже, как при Борисе, с южных областей государства.

Терские казаки, которые по приглашению расстриги везли Волгой Лжепетра к Москве, находились уже у Вязовых гор, в четырнадцати верстах выше Свияжска, когда получили известие об убиении Отрепьева[19]. Они немедленно поплыли назад, но им предстояло проехать поблизости Казани, где царские воеводы, имея при себе довольно войск, могли остановить их. Во избежание сего они прибегли к хитрости. Подъехав к Казани, они пристали к нагорной стороне и послали в город сорок лучших казаков с поручением донести воеводам, что они готовы целовать крест царю Василию, а Лжепетра выдать. Воеводы поверили и честно отпустили посланных, а сами не остереглись. Казаки, пользуясь их оплошностью, в следующую ночь тихо уплыли вдоль нагорного берега и потом, беспрепятственно продолжая плавание вниз по Волге мимо Самары и Саратова, достигли устья речи Камышанки. На пути они не переставали злодействовать, разоряя прибрежные места и предавая смерти всех встречаемых ими служивых людей. Из высших чиновников они убили воеводу Федора Акинфиева и ехавшего в Персию посланником князя Ивана Петровича Ромодановского. Из Камышанки они переволокли суда свои в Иловлю, а сей рекой спустились до Дона, где и остановились зимовать.

В юго-западных пределах государства мятеж водворялся еще в опаснейшем виде для правительства. Главным зачинщиком оного оказался один из первейших царских чиновников. Во время восстания Москвы против расстриги находящийся в числе его царедворцев князь Григорий Петрович Шаховской успел похитить государственную печать; имея, таким образом, в руках важное орудие для возбуждения новых смут, он решился воспользоваться оным в удовлетворение властолюбия своего[20]. Но не в столице мог он надеяться приступить с успехом к исполнению своего злодейского предприятия. Ему должно было действовать первоначально в такой стране, где еще чтилось имя Димитрия и где по шаткому расположению умов нетрудно было ему найти многочисленных сподвижников. Северская земля вполне удовлетворяла сим условиям, ибо там не переставали еще бушевать неистовые страсти бродяг. Лукавый Шаховской успел снискать доверенность царя и выхлопотать себе воеводское место в Путивле. Приехав в сей главный город в Северии[21], он созвал обывателей и объявил им, что Димитрий жив и укрывается от убийц, жаждущих его крови[22], что Василий ожесточен против северян за оказанное ими усердие Димитрию и что он в наказание готовит

им участь, подобную той, которая постигла Новгород, разгромленный свирепством Иоанна Грозного[23]. Он убеждал их, для собственного спасения своего, вооружиться за Димитрия. Подстрекаемые им путивляне взбунтовались против Василия, и их примеру последовали города: Муромск, Чернигов, Стародуб и Новгород-Северский[24]. В Чернигове начальником был тот самый боярин князь Андрей Телятевский, который не хотел участвовать в измене целого войска под Кромами; но, застращенный истязаниями, коими самозванец наказал его верность к царю Феодору, он не походил уже на себя! Прежняя твердость его уступила место малодушию, и он не только не старался обуздывать бунтовщиков, но даже согласился быть одним из главнейших их начальников.

Впрочем, крамола действовала не в одних отдаленных областях государства. Царь Василий имел в Москве многочисленных приверженцев, но противники его бодрствовали и там и втайне устраивали ковы свои по наущению недовольных бояр. Волнение огласилось новым воззванием к народному самоуправству. Ночью на воротах многих вельмож и иностранцев нашли подпись, что царь повелевает народу разграбить дома сих изменников[25]. Чернь, всегда лакомая к добыче, уже с радостью собиралась на разбой; царские чиновники не без труда ее усмирили. Несколько дней прошло спокойно; но пятнадцатого июня, когда Василий шел к обедне, московские обыватели стали снова стекаться на дворцовую площадь, приглашенные именем царя, который будто бы желает говорить с народом. Царь изумился и приказал исследовать, кто дерзнул без его ведома действовать его именем? Сам же, не трогаясь с места, со слезами укорял в коварстве окружавших его царедворцев. «Не вами ли самими, – говорил он, – я избран на царство? Если я вам неугоден, то можно и без смуты избавиться меня. Я сам готов сложить с главы моей царский венец». Тут он кинул посох, снял шапку и промолвил: «Если так, выбирайте кого хотите!» Все молчали. Тогда царь, взяв обратно посох, воскликнул: «Мне надоели эти козни: то хотите меня умертвить, то грозите смертью вельможам и иноземцам; по крайней мере, думаете ограбить их; если признаете меня царем, требую казни виновных!» Слушатели отвечали с покорностью, что они клялись ему в верности и повиновении, готовы умереть за него и сами просят наказать преступников. Обывателей распустили по домам, но пятерых мутителей схватили. Правительство верило существованию заговора, имеющего целью возвести на престол князя Мстиславского, но учиненный розыск совершенно оправдал вельможу. Только некоторое подозрение пало на сродника его, боярина Петра Никитьевича Шереметева, которого удалили из столицы, назначив его главным начальником во Псков[26]. Пойманные пять злоумышленников были всенародно наказаны кнутом и сосланы[27].

Между тем князь Шаховской неусыпно старался об устроении мятежнического ополчения в Путивле. Распоряжаясь именем убитого самозванца, он искал средства облегчить свои действия и хотел представить народу нового Лжедимитрия. В сем намерении он вошел в сношение с Молчановым, который, пробравшись до Самбора, продолжал и там выдавать себя за царя с согласия Марининой матери, находившей полезным для своей дочери распространять слух о спасении ее супруга. Шаховской звал Молчанова в Путивль и обещал ему подданство всей Северской земли. Но Молчанов был только смел на безопасное злодейство. Он не отважился выступить на поприще, где мог встретить угрожающую гибель, тем более что действительно он нисколько не походил на расстригу. Он был смугл лицом, бороду подстригал и имел усы довольно густые, нос покляпый и черные курчавые волосы; у Отрепьева же, напротив того, лицо было белое, нос широкий и волосы русые, а усов и бороды он вовсе не имел. Только у того и у другого было по бородавке на лице. Но у Молчанова бородавка находилась на щеке, а у расстриги возле носа. К тому же весьма многие в Москве лично знали Молчанова. Явиться в России казалось ему опасным. Но, чтобы не отказаться совершенно от выгод, предоставлявшихся ему готовностью северян признать его

за своего государя, он рассудил послать вместо себя в Путивль человека отважного, который обещался мерами зверскими, но глубоко обдуманными дать решительный оборот замышляемым в пользу самозванца военным действиям.

Сей человек был Иван Болотников. Он родился холопом князя Андрея Телятевского. В молодости, увезенный татарами и проданный туркам, он несколько лет работал на галере. Получив свободу при помощи немцев, он отправился в Венецию[28]. Тут узнал он о неустройствах, терзающих Россию, и, чувствуя в себе бесстрашие и способности необыкновенные, кои в смутные времена часто доставляют знаменитость даже людям низкого состояния, он решился искать личного счастья в бедствиях Отечества. Но, пробираясь через Польшу, он был захвачен и представлен Молчанову, которого в разговорах своих легко убедил, что никто лучше него не постигал, какими верными средствами можно ниспровергнуть законную власть в России. Болотников, одаренный от природы тонким и сметливым умом, хотя еще в молодости оставил Отечество, знал твердо внутреннее положение России и понимал, что для упрочения самозванства оно должно непременно опереться на ослепление многолюднейшего сословия в России. Основываясь на сем начале, он смело предлагал, отложив всякую умеренность, стараться возбудить мятеж в холопах и крестьянах и, пользуясь их естественной алчностью, их ненавистью к господам, порожденной нововведенным порабощением, вызвать их безнаказанно на грабеж и убийство. Злодейский замысел прельстил Молчанова; он с радостью принял обещание Болотникова в верности, подарил ему шубу, саблю и тридцать червонных и отправил его в Путивль с письмом, в коем убеждал князя Шаховского вверить ему начальство над собирающимся войском. Шаховской тем охотнее согласился исполнить желание самозванца, что сам не полагал себя способным к военному делу и не имел при себе ни одного опытного полководца.

Царь Василий, со своей стороны, занимался изысканием средств к усмирению мятежа, который хотя не весьма быстро, но постепенно распространялся в России. Города Кромы и Елец пристали к бунтовщикам, коих подметные письма явились даже на московских улицах. В письмах сих упрекали московских жителей в неблагодарности к Димитрию, укрывшемуся от их ударов, и угрожали возвращением его для наказания столицы не позже первого сентября[29]. Очевидно, что злодеи имели тайных сообщников в самой Москве. Созвали всех дьяков и сличали руки их с почерком писем, но не могли открыть виновного.

Правительство, вынужденное оставлять безнаказанным скрытых врагов, намеревалось, по крайней мере, управиться с явными. Боярин князь Иван Михайлович Воротынский и стольник князь Юрий Никитич Трубецкой получили приказание собрать войско и с оным следовать за Оку[30]. Но, обращаясь к наступательным действиям, царь несколько сомневался в успехе оных и не упускал также и приготовлений к обороне. По повелению его двадцать первого июля уставили пушками кремлевские стены и разобрали сплошной мост, ведущий к Кремлю[31]. Вскоре потом почли благоразумным удалить из Москвы задержанных поляков. В столице оставили только одних послов. Мнишек с дочерью, сыном, братом и племянником и с панами Запорским и Дворжицким отправлены были в Ярославль; князь Вишневецкий в Кострому; хорунжий Тарло, супруга его, пан Павел Тарло и мать его старостина Сохачевская в Тверь; наконец, двое Стадницких, Немоевский, Вольский и Корышко в Ростов.

Не обнажая еще меча, Василий хотел испытать средства увещаний и силой духовной власти усовестить бунтовщиков. В сем намерении он послал в Северскую землю Пафнутия, митрополита Крутицкого, с архимандритами и игуменами[32]. Но северяне не хотели слушать святителя. Столь же бесполезной оказалась посылка в Елец боярина Григория Федоровича Нагого, которому поручено было отвезти туда увещевательную грамоту сестры его царицы Марфы и образ святого царевича Димитрия, дабы разуверить блуждающих[33]. Ельчане не менее северян упорствовали против истины.

Оставалось прибегнуть к оружию. В междоусобиях первая встреча часто решает участь войны. Но царские воеводы не поняли важности начальной неудачи; они как будто накупались на поражение безрассудными своими распоряжениями. Вместо того чтобы действовать в совокупности для нанесения решительного удара, они не только разделили свои силы, но приблизили к неприятелю именно слабейшую часть оных. Князь Воротынский, оставя один из трех полков своих в Орле, под начальством князя Ивана Михайловича Борятинского, сам с двумя прочими полками, составляющими главный отряд, обложил Елец после удачного сражения против жителей, силившихся не допускать его к городу; стольник же князь Трубецкой[34] с пятитысячным войском осадил Кромы[35].

Болотников не преминул воспользоваться сей ошибкой. Набрав двенадцать тысяч человек в Путивле, он быстро двинулся с ними к Кромам и под сим городом, разбив наголову Трубецкого, отбросил его на Орел. Путивльцы ругались над пленными, называя царя Василия в насмешку *шубником,* а их самих цареубийцами, некоторых из них утопили, а других избили плетьми до полусмерти и дерзко отпустили в Москву.

Последствия Кромского сражения были ужасны. Казалось, что полк Борятинского, усиленный остатками Трубецкого, мог бы еще удержаться в Орле. Но находящиеся в сем войске служивые люди новгородские, псковские, великолуцкие, торопецкие и замосковных мест, видя в жителях Орла и прочих украинских городов несомненную наклонность к самозванцу, до такой степени упали духом, что оставили постыдно хоругви свои и разошлись под домам, несмотря на увещание воевод, кои, обессиленные их бегством, нашлись вынужденными отступить к Калуге. Робость часто бывает прилипчива. Князь Воротынский при первом известии о происшествиях под Кромами и в Орле также смутился и, вероятно, опасаясь быть отрезанным от Москвы, поспешно снял осаду Ельца и направил свои войска на столицу; но пагубный пример ратных людей Борятинского и Трубецкого подействовал и на его воинов, которые на пути по большей части разбрелись[36]. Таким образом, остались обнаженными обширные области, где общая нелюбовь к правительству готовила уже измену. В самом деле, лишь только царское войско исчезло, то бунт распространился повсеместно. Многие города спешили отложиться от царя назло Москве, избравшей его без их ведома; воевода Григорий Сунбулов и дворянин Прокопий Ляпунов возмутили Рязань с пригородами, а епифанский сын боярский Истома Пашков то же учинил в Туле, Веневе и Кашире[37]. Во всех сих городах дворяне и дети боярские ополчались за Димитрия и намеревались содействовать Болотникову в предприятиях его против столицы. Не участвующий в измене рязанский наместник, боярин князь Черкасский, был схвачен и отправлен в Путивль.

Болотников, со своей стороны, подвигаясь к Москве, рассевал повсюду возмутительные воззвания, приманивал к себе чернь и старался направлять все страсти ее на уничтожение всех общественных преимуществ в России. Крестьян и холопей он подстрекал на умерщвление господ, обещая им в награду жен, вотчины и поместья прежних их владельцев; всем простолюдинам указывал на грабеж купцов и торговых людей, как на вернейшее средство к обогащению[38]. Тех, кои особенно отличились бы на сем злодейском поприще, он обещал возвести на степень дьяков, воевод, окольничих и даже бояр. Со всех сторон безнравственные толпы, напитанные духом злобы, корысти и властолюбия, стекались под кровавые его знамена. Города, прельщенные или застращенные, без сопротивления отворяли ворота свои его позорным сподвижникам, которые везде ознаменовали владычество свое убийством знатнейших граждан, расхищением богатейших домов, обесчещением жен и девиц и преданием лютейшим мукам тех, коих почитали врагами своими. Сих несчастных расстреливали, кидали с башен и мостов, вешали за ноги и распинали на стенах[39]. Даже некоторые злодеи, отвергнув врожденное в русских сердцах благоговение к святыне, обдирали иконы и позорили церкви. В непродолжительном времени сделались жертвой бунта

Орел, Мценск, Болхов, Белев, Лихвин, Козельск, Мещовск, Калуга, Алексин, Малоярославец, Медынь, Боровск, Вязьма, Можайск, Руза, Погорелое Городище, Зубцов, Ржев, Старица, Волоколамск и Иосиф монастырь. Измена не проникла только в крепкий Смоленск, охраняемый верными стрельцами, коими начальствовал боярин князь Иван Семенович Куракин. Также удержались в должном повиновении соседственные к Смоленску города Дорогобуж и Серпейск. Но, с другой стороны, мордва возмутилась в уездах Арзамасском и Алатырском и неистовствовала в соединении с господскими холопами и крестьянами. Бунтовщики утопили в Алатыре воеводу Ждана Степановича Сабурова и общими силами, под предводительством Ивана Доможирова и мордовских старшин Москова и Воркадина, приступили к Нижнему Новгороду, где жители пребывали верными царю Василию. Напротив того, в Свияжске провозгласили Димитрия, и чернь начинала волноваться даже и за Волгой в Вятской земле[40]. Наконец, знатный сановник, окольничий князь Иван Дмитриевич Хворостинин, начальствуя в Астрахани, вошел также в единомыслие с Шаховским[41]. Напрасно бывший при нем дьяк Афанасий Карпов старался воздержать его от измены при помощи некоторых благонамеренных астраханцев. Карпова умертвили, как и всех людей, пребывших верными своему долгу, и Астрахань признала Димитрия своим государем[42].

Царь, пораженный неожиданной вестью о бегстве воевод из-под Кром и Ельца, не полагал, однако, чтобы полки их уже вовсе не существовали, а мыслил, что нужно только их ободрить подкреплением. В сем предубеждении он наскоро выслал из Москвы новое войско под предводительством брата своего, князя Ивана Ивановича Шуйского, коему предписал идти навстречу Борятинскому и Трубецкому и в совокупности с ними отразить врагов[43]. Другие два отряда хотя и были посланы из Москвы, один с боярином князем Владимиром Васильевичем Кольцовым-Мосальским в Серпухов, другой с князем Данилом Ивановичем Мезецким в Каширу, но жители сего последнего города, уже передавшиеся мятежникам, не впустили к себе Мезецкого. С другой стороны, князь Шуйский двадцать третьего сентября разбил мятежнический отряд на устье Угры. Маловажная удача сия осталась бесполезной. Присоединившееся к князю Шуйскому войско Трубецкого и Борятинского уже было так малолюдно, что Шуйский не почел возможным не только осадить изменившую Калугу, но даже безопасно оставаться в краю, совершенно преданном мятежу, и потому решился возвратиться в Москву.

Вскоре после этого Болотников, усиленный дружинами Пашкова и рязанцев, переправился за Оку и подступил под Коломну[44]. Город, защищаемый отрядом московских стрельцов, был взят приступом и разграблен. Болотников присоединил плененных стрельцов к своему войску и направился с оным на Москву.

Царь, поспешно собрав сколько мог ратных людей в столице, выслал их против бунтовщиков по двум направлениям: князь Михайло Васильевич Шуйский-Скопин с частью войска выступил по Серпуховской дороге, для поддержания отступающего по оной князя Мосальского, главные же силы, под предводительством князя Мстиславского, пошли на Коломну. Мятежнические шайки, переправившиеся за Оку в Серпухове, достигали уже Лопасни, но тут были разбиты князем Скопиным-Шуйским, который отогнал их и обратился в соединение с князем Мстиславским[45]. По несчастью, за сей маловажной удачей следовало сильное поражение. Главное царское войско, соединившись со Скопиным в Домодедове, двинулось навстречу Болотникову и, сойдясь с ним в семидесяти верстах от Москвы при селе Троицком, вступило в гибельный для себя бой[46]. Московские дружины обратили тыл, оставив в руках бунтовщиков много дворян и стольников, кои были отосланы в Путивль. Болотников по следам бегущих приблизился к Москве и в конце октября месяца расположился станом в селе Коломенском, откуда старался возмутить столицу подметными письмами и тайными происками своих единомышленников.

Царь Василий находился в опаснейшем положении. Он имел при себе малое число ратных людей, да и тех троицкое поражение приводило в крайнее уныние. Знатная часть государства была уже в руках злодеев. К довершению бедствия моровое поветрие царствовало в Новгороде. Только со стороны Ярославля оставался еще свободный путь для доставления в Москву съестных припасов, в коих уже начинали ощущать недостаток, так что цена на меру хлеба, дотоле продаваемую по одному грошу, возвысилась до четырех грошей[47].

Среди столь горестных забот царь обязан был первым утешением преданности духовенству. Правда, некоторые священники в городах и селах передались мятежникам, но высшие сановники церкви везде оказывались достойными славных предшественников своих, коих русская история всегда показывает на стороне законности и народности. Более прочих святителей имели случай отличиться Ефрем, митрополит Казанский, и Феоктист, архиепископ Тверской. Ефрем не только успел помочь царским воеводам удержать Казань от участия в бунте, но еще сильно действовал духовным оружием против свияжских изменников, отлучил их от церкви и запретил городским священникам принимать от них в храмы всякие приношения[48]. Подвиг преосвященного Тверского был еще замечательнее. Злодейские шайки, возмутившие уже весь Тверской уезд, подступили под самую Тверь, которая, не имея воинов для обороны, казалась для них верной добычей. Но Феоктист собрал приказных людей, детей боярских своего архиерейского двора и всех граждан и, воспламенив их пастырским своим назиданием, выслал против врагов[49]. Тверитяне, хотя и непривычные к бою, сразились храбро, одолели бунтовщиков и попленили многих из них, которых и отправили в Москву.

Феоктист вполне заслужил признательность Отечества, первый доказав, что можно победить злодеев. В междоусобных войнах малейшие удачи или неудачи важны по последствиям. Так и бой под Тверью, хотя сам по себе довольно незначительный, однако имел спасительнейшее влияние на общий ход дел. Жители городов Старицы, Ржева, Зубцова и Погорелого Городища, поддавшиеся мятежникам единственно от страха, ободрились и, глядя на тверитян, снова обратились к послушанию царю Василию. Таким образом восстановилось сообщение Москвы со Смоленском, где боярин князь Куракин уже готовил помощь для столицы. По приказанию его дворяне, дети боярские и всякие служивые люди Смоленска, Серпейска, Дорогобужа и Вязьмы составили рать, которая двинулась к Можайску под предводительством дворянина Григория Михайловича Полтева. Для очищения ему пути царь выслал к нему навстречу отряды по двум направлениям: князя Мезецкого в Можайск, а окольничего Ивана Феодоровича Крюка-Колычева в Волоколамск[50]. Колычев выгнал бунтовщиков как из Волоколамска, так и из Иосифова монастыря. Колычев, Мезецкий и Полтев соединились в Можайске и составили довольно сильное ополчение, которому царь прислал повеление прибыть в Москву к двадцать девятому ноября[51].

Между тем как царская сторона усиливалась, мятежническая ослабевала. В Коломенском стане не было единомыслия: Сунбулов, Ляпунов, Пашков и бывшие с ними дворяне и дети боярские стыдились злодейских подвигов гнусных товарищей своих и с сокрушением видели себя в необходимости подчиняться Болотникову, которого действия явно клонились не только к низвержению одной только Москвой избранного царя, но еще более к уничтожению прав и преимуществ помещиков и к истреблению всех высших сословий в государстве. Естественно ли было людям, принадлежащим к сим сословиям, содействовать достижению такой цели? Должно было ежеминутно ожидать разлучения их с Болотниковым. Пашков еще колебался, но отважный Ляпунов скоро решился. Сей дворянин, отличавшийся осанистой наружностью и умом пылким и предприимчивым, был честолюбив и заносчив, но искренно любил Отечество[52]. Пользуясь полной доверенностью рязанцев, ему нетрудно было убедить их, что непростительно жертвовать собственными выгодами и благоденствием России

в удовлетворении хотя отчасти справедливого, но, по крайней мере, вовсе не своевременного негодования на Москву и что лучше признать царя Московского, чем участвовать в совершенном разорении государства, замышляемом жестокосердым Болотниковым. Вследствие сего пятнадцатого ноября Ляпунов отъехал в Москву не только с Сунбуловым и всеми рязанцами, но он привел еще с собой взятых в Коломне стрельцов, коих Болотников против воли их заставил следовать за собой[53]. Обрадованный царь не усомнился простить всем прежние вины их и принял их как раскаивающихся чад. Это благоразумное милосердие привлекло новых переметчиков из Коломенского стана; многие из них, удерживаемые дотоле одним страхом подвергнуться царскому гневу, спешили воспользоваться его отеческим расположением.

Но Болотников еще не унывал. До тех пор он оставался в наблюдательном положении перед столицей, потому что надеялся покорить ее лестью или голодом, и что между тем число войск его замечательно умножалось. Но переменившиеся обстоятельства заставили его также переменить образ действий своих. Не только силы его более не умножались, но даже ежедневно слабели; дальнейшее стояние способствовало бы только новым побегам. С другой стороны, необходимо было ему предупредить прибытие в Москву Колычева, Мезецкого и Полтева. По сим причинам он решился учинить поиск на столицу и двадцать шестого ноября послал половину войска своего за Москву-реку для нападения на пригородную Рогожскую слободу. Отряд, проходя поблизости Симонова монастыря, бесполезно пытался склонить его к сдаче; не только находящиеся там на страже московские воины, но даже и сами монахи вооружились и отбили неприятеля[54]. Между тем высланное из Москвы войско для обороны Рогожской слободы, не дождавшись нападения бунтовщиков, вышло к ним навстречу и сразилось с ними на расстоянии одной версты от слободы[55]. Бунтовщики были опрокинуты и прогнаны за реку, оставив в руках победителей значительное число пленных.

Три дня спустя Колычев, Мезецкий и Полтев прибыли к Москве; войско их расположилось у Девичьего монастыря и поступило под начальство князя Ивана Шуйского. В то же время и московские *сидельцы*[56] вышли в поле и стали лагерем у Данилова монастыря[57]. Царь назначил главным предводителем над ними князя Михайлу Васильевича Скопина-Шуйского, двадцатилетнего юношу, уже отличившегося в стычке близ Лопасни. Выбор сего вождя заслуживал всеобщее одобрение. Скопин приятной наружностью и ласковой обходительностью привлекал к себе все сердца. С умом проницательным и зрелым не по летам он соединял редкое великодушие, истинную доброту и пламенное усердие к Отечеству. В делах и личных сношениях он умел убеждать противников без оскорбления их самолюбия, а на ратном поле являлся полководцем отважным и распорядительным. Русские с любовью следили за возрастающей знаменитостью его и утешались надеждой, что ему обязаны будут избавлением отечества.

Царь, готовясь к решительному действию, от коего зависела участь его престола и самого государства, не упускал, однако же, из виду, что успех был сомнителен по причине известности упорности бунтовщиков и что по священной обязанности, на нем лежащей, ему следовало всемерно стараться об упреждении пролития русской крови. По сим уважениям Василий послал еще увещать к покорности Болотникова, обещая ему богатые милости[58]. Но Болотников отвечал, что, поклявшись не щадить живота своего для успеха предпринятого им дела, он не нарушит своей присяги.

После такого отзыва нечего было медлить: второго декабря князья Скопин и Иван Шуйский пошли к Коломенскому[59]. Болотников, не допуская их до своего стана, встретился с ними у деревни Котлов[60]. Завязалась жестокая битва, с самого начала коей Пашков, уже

неохотно остававшийся при Болотникове, положил оружие со всеми находящимися еще в мятежническом войске дворянами и детьми боярскими[61]. Несмотря на сие отложение, оставшиеся при Болотникове холопы, крестьяне и казаки сражались упорно, но были разбиты наголову. Потерпев великий урон убитыми и пленными, они побежали, наконец, по направлению к Серпухову. Но казаки с атаманом своим Дмитрием Беззубцевым не пошли за Болотниковым, а засели в укрепленном селении Заборье. Царские воеводы, преследовавшие бегущих, подступили к Заборью, и казаки сдались без сопротивления.

Сам Болотников продолжал отступление свое до Серпухова, но жители сего города, не желая разделять его несчастной судьбины, не согласились впустить его к себе[62]. Он вынужден был перейти Оку и искать убежища в Калуге, с оставшимися при нем десятью тысячами человек. Другие беглецы заняли Тулу.

Столь сильное поражение бунтовщиков, казалось, утверждало престол за Василием. В порыве радости своей он приказал торжествовать победу во всем государстве молебствиями и трехдневным колокольным звоном[63]. Заслуги воевод не остались без награждения: князь Скопин-Шуйский и Колычев возведены в бояре, а Полтев пожалован в думные дворяне[64]. Передавшиеся с Пашковым помещики и Беззубцева казаки получили прощение, но взятых с бою пленных всех потопили[65].

По несчастью, Василий, ослепленный блистательным успехом, не постиг, что, при известной твердости Болотникова и ожесточении преданной ему черни, конечное истребление врагов требовало еще важных усилий. Вероятно, увлекаясь желанием не подвергать войско изнурениям зимнего похода, он счел достаточным действовать за Окой лишь одними отрядами. Начальники оных получили повеление следовать: думный дворянин Артемий Васильевич Измайлов под Козельск, князь Никита Андреевич Хованский под Калугу, боярин князь Иван Михайлович Воротынский под Алексин, князь Андрей Васильевич Хилков под Венев и князь Иван Андреевич Хованский под Михайлов. Шестой отряд, под начальством боярина князя Ивана Ивановича Шуйского, оставался в Серпухове в подкрепление прочим пяти[66]. Вместе с тем приказано воеводам Григорию Григорьевичу Пушкину и Сергею Григорьевичу Ададурову со служивыми людьми городов Суздаля, Владимира и Мурома идти на усмирение мордвы и избавление Нижнего Новгорода, а боярину Федору Ивановичу Шереметеву с низовой ратью поручено стараться покорить Астрахань.

Болотников, решившийся упорно отстаивать Калугу, принимал все нужные меры к обороне и приказал обвести город тыном и двойным рвом. Отряд князя Никиты Хованского был слишком слаб, чтобы осмелиться что-либо предпринять против укрепленного места, защищаемого сильным и отважным войском[67]. Царь дал повеление брату своему, князю Шуйскому, двинуться из Серпухова и, соединившись с Хованским, приступить к Калуге[68]. В исполнение сего Шуйский обложил город сей тридцатого декабря[69].

Прочие отряды действовали неудачно. Измайлов и князь Хилков бесполезно осаждали: первый Козельск, а второй Венев. Михайловцы, при помощи полученых подкреплений из украинских бунту преданных городов, отразили князя Ивана Хованского и принудили его отступить в Переславль-Рязанский[70]. Царь сменил его и поручил начальство над его отрядом боярину князю Борису Михайловичу Лыкову и Прокопию Ляпунову. Князь Воротынский хотя и занял беспрепятственно Алексин, но, оттуда следуя под Тулу, он претерпел сильное поражение[71]. В Туле укрывалось множество беглецов Коломенского стана. Они высыпали под предводительством изменившего боярина князя Андрея Андреевича Телятевского навстречу Воротынскому и рассеяли его отряд, так что он с трудом мог возвратиться в Алексин.

Астрахань также не поддавалась подступившему под нее боярину Шереметеву, который, несмотря на ревностную помощь ногайского князя Иштерека и всей его орды, не полагая себя в состоянии силой взять город, укрепился на острове Балчике и оставался там в наблюдательном положении. Князь Хворостинин беспокоил его частыми нападениями на его укрепления. Он отбивался, но не без урона. Те из его воинов, которые в сих сражениях попадали в плен, были отводимы в Астрахань и там предаваемы мучительной смерти. К довершению бедствий, претерпеваемых его войском, открылась в оном сильная болезнь цинга, которая причинила великую смертность.

Только воеводы Пушкин и Ададуров с успехом исполнили данное им поручение. Мятежники, осаждавшие Нижний, известившись о подходе их к Арзамасу, пришли в робость и, сняв осаду, рассеялись. Воеводы заняли без сопротивления Арзамас и Алатырь[72]. Город Свияжск, видя вокруг себя восстановление законной власти, добровольно возвратился в подданство царя Василия. Таким образом, водворив совершенно спокойствие в мордовской земле, Пушкин и Ададуров спешили исполнить полученное ими повеление обратиться от Алатыря к рязанским местам на помощь находившимся там отрядам.

Но все сии действия оказывались второстепенными в сравнении с главным делом, осадой Калуги. Князь Шуйский не успевал в оной, и все усилия его уничтожались стойкостью Болотникова. Царь, наконец, убедился, что мятеж не укротится, пока не истребят главу оного; вследствие сего он выслал под Калугу сколько было еще при нем в Москве ратных людей и поручил начальство над осаждающим войском боярам князьям Мстиславскому, Скопину-Шуйскому и Татеву[73].

Тем нужнее было для царя поспешить утушением бунта, что полученные им известия из Польши оказывались не совсем благоприятными. Злоба на русских за убиение самозванцевых гостей была во всех сердцах польских. Король и вся Речь Посполитая не скрывали неприязненных расположений своих и, вероятно, объявили бы уже войну России, если бы Сигизмунд не вынужден был обратить оружие на собственных подданных своих. Жебржидовский, воевода Краковский, и князь Януш Радзивилл, подчаший Литовский, питая личное неудовольствие против короля, обвиняли его в нарушении шляхетских прав, в намерении сделаться самодержавным и успели вызвать на рокош[74] довольное число шляхтичей. Но король с войском своим рассеял рокошан. Замешательства сии весьма замедлили приезд посланников русских, князя Волконского и Иванова, которые, прибыв на польский рубеж шестнадцатого июля, достигли Кракова только шестнадцатого декабря[75]. В проезд их через Польшу они испытали великие оскорбления. Везде их ругали, называли изменниками, а в Минске даже кидали в них камнями и грязью. В Кракове они хотя и были допущены к королю, но подарков ни от них не приняли, ни им не дали. В переговорах с польскими панами Волконский требовал удовлетворения за кровопролитие и расхищение царской казны, причиненные появлением подосланного от Польши Лжедимитрия. Но вместе с тем он объявил, что царь желает не нарушать существующего с Польшей мира и для того отвергнул даже предложения короля шведского, который обещал уступить ему несколько городов в Лифляндии, с тем, чтобы он ему помогал против поляков. Паны отвечали, что Лжедимитрия не поляки подослали, а сами русские приняли, и что, следственно, не царь имеет право на удовлетворение, а король за удержание его послов и за претерпенные бедствия и убытки его подданных во время убийства самозванца. Впрочем, и они говорили также, что Польша не нарушит мирного договора, если Россия будет свято соблюдать постановления оного. Но все ограничилось словесными объяснениями, хотя Волконский и домогался получить письменный ответ на свои представления. Он, со своей стороны, отказался отвезти к царю королевскую грамоту, коей содержание было ему неизвестно, и напомнил при сем случае, что он не гонец, а посланник. Тогда король приказал ему ехать к царю с поклоном и с обеща-

нием, что вскорости будет прислан в Москву королевский посланник. Волконский и Иванов, возвратившись в Москву тринадцатого февраля 1607 года, известили царя, что ему должно остерегаться Польши, где общее желание было при первом удобном случае открыто воевать против России.

Между тем Мстиславский с товарищами сильно приступал к Калуге. Не только стенобитные орудия и мортиры громили город, но Мстиславский приказал еще подводить к острогу огромный деревянный примет в намерении зажечь оный, так, чтобы вместе с приметом сгорел и острог[76]. Но Болотников бодрствовал. Он сделал жестокую вылазку со всеми имеющимися при нем людьми и сам сжег примет прежде, нежели успели его довести до острога.

Вскоре после того царские воеводы известились, что из Путивля идет войско на помощь Калуге. В самом деле, старанием князя Шаховского отважнейшие из северских удальцов собрались на выручку Болотникова под предводительством князя Василия Мосальского. Замечательно, что, хотя восставшая чернь в особенности являлась грозной для высших сословий, она охотно подчинялась именитым людям и находила честолюбцев, готовых из личных видов жертвовать пользами своих собратий. Мосальский сперва двинулся на выручку Венева и под сим городом разбил осаждающего оный князя Хилкова, который ушел в Каширу[77]. Совершив подвиг сей, Мосальский обратился на Калугу, следуя по Белевской дороге[78]. Мстиславский выслал к нему навстречу сильный отряд под начальством боярина Ивана Никитича Романова. Обе стороны сошлись на речке Вырке. Упорное сражение продолжалось целые сутки и кончилось поражением бунтовщиков. Сам Мосальский был убит. Остервенение северян было так велико, что многие из них даже побежденные не сдавались и не бежали, а поджигали под собой пороховые бочонки и летели на воздух. Романов возвратился под Калугу с победой и получил золотой в награждение от царя[79]. Но твердость защитников Калуги не колебалась.

Чрезвычайное упорство бунтовщиков убедило, наконец, царя, что надежда его на близкое окончание междоусобия была неосновательна и что без новых усилий не управиться ему с отчаянными злодеями. Готовясь к оным, он старался всеми возможными мерами укрепить власть свою, ослабленную разномыслием подданных. Для сего казалось ему нужным явить себя в глазах русского народа настоящим преемником законного престола Годуновых. Справедливо уверенный в содействии духовенства, он склонил его торжественно огласить, что церковь, несмотря на преступления, коими Борис очистил себе путь к престолу, признает неоспоримым право его на оный, освященное народным избранием, и что нарушение присяги, данной ему и сыну его, отягчает целую Россию грехом, требующим разрешения духовной власти. Дабы придать более важности замышляемому действию, положили вызвать в столицу прежнего патриарха Иова. Знаменитый слепец прибыл из Старицы в Москву четырнадцатого февраля 1607 года. Несколько дней проведено еще в совещаниях. Наконец, двадцатого февраля, в восемь часов утра, по приглашению патриарха Гермогена гости и торговые и черные люди собрались в Успенском соборе. Те, кои не поместились в самом храме, стали около оного. Все с умилением смотрели на Иова, смиренно стоявшего возле патриаршего места, занятого Гермогеном. По совершении молебствия, отправленного Гермогеном, гости и торговые люди поднесли Иову от имени всего народа челобитную, в коей, принося покаяние в нарушении данной Годунову клятве и в выдаче законного царя Феодора Борисовича с семейством его в руки несчестивого самозванца, просили отпустить всем прегрешения сии и испросить на все государство благословение Всевышнего. Архидьякон читал челобитную сию на амвоне, после чего ему же велено было прочесть прощальную грамоту, писанную от имени обоих патриархов, прощающих и разрешающих клятвопреступление россиян в сей век и в будущий[80]. По окончании чтения тронутые слушатели бросались к

стопам Иова, испрашивая его благословения. Почтенный старец, увещевая их, говорил им: «Чада духовные! В сих клятвах и крестного целования преступлении, надеясь на щедроты Божия, прощаем вас и разрешаем соборне, да приимите благословение Господне на глазах ваших; впредь же молю вас, да не покуситеся таковая творити, еже крестное целование в чем преступати; велика бо сия заповедь, еже целовав честный и животворящий крест, на нем же Владыко наш Христос Бог волею сраспинался, хотя нас избавити от мучительства диаволя; и вы, клявся и целовав тот же животворящий крест непоодинова, да впали в преступление». Все обещали на будущее время с верностью соблюдать данную присягу. Иов, по совершении духовного подвига, от коего ожидали теснейшего союза между государем и народом, возвратился в Старицу, где скоро потом скончался[81].

Впрочем, долговременная опытность царя Василия указывала ему, что действие живейшего нравственного побуждения скоро остывает в сердцах человеческих, когда не согласуется с вещественными выгодами лиц, и что только доставление такого рода выгод в смутные времена укрепляет преданность в сподвижниках. В сем убеждении он рассудил, что благоразумие требовало от него заботиться об удовлетворении нужд помещиков, составляющих надежнейшую опору колеблющейся державы его, и что, хотя бы сие клонилось к явному вреду и огорчению крепостных людей их, ему нечего было жалеть о сих злейших противниках его власти. Главнейшей же нуждой помещиков было в то время упрочение их крепостного права над холопами и крестьянами. Царь, желая угодить им, но не смея действовать один, в особенности когда дело шло о столь важном предмете, созвал высшее духовенство и вельмож и рассуждал с ними, что, хотя запрещение перехода крестьян можно почитать началом отечественных бедствий, но что оные усугублялись еще допущенными царем Борисом частными изъятиями от сего запрещения, ибо, навлекая некоторую сомнительность на права помещиков и обязанности крестьян, изъятия сии пуще прежнего потрясали общее спокойствие; что в сих обстоятельствах для восстановления желаемого порядка непременно должно было или вовсе запретить переход, или по-прежнему объявить оный совершенно свободным, но что в последнем случае помещики, лишаясь крепостного права после пятнадцатилетнего законного пользования оным, потерпят важное расстройство в своем быту, в негодовании своем откажутся от службы, и тогда беззащитное правительство не будет иметь никакой возможности противостоять ополчавшимся на него врагам, а государство неминуемо подпадет под власть злодейских врагов общественного порядка; что, следственно, оказывалась необходимость в принятии строгих мер к конечному утверждению крепостного права помещиков. По сим уважениям с общего согласия издали соборную грамоту, коей отменялись изъятия от запрещения перехода и предписывалось по-прежнему всем крестьянам оставаться за теми владельцами, за коими они были положены по переписным книгам 1593 года. К прекращению побегов подговорщиков подвергали торговой казни и штрафам, кои налагались также и на приемщиков. Кроме того, прежняя пятилетняя давность на отыскание беглых была продолжена до пятнадцати лет. Сильно обуздывая таким образом бродяжничество, новый закон заботился также и об ограждении непорочности нравов от злоупотребления помещичьей власти. Установлялось, что, если господин не дозволит вступить в брак рабам своим, мужчинам после двадцати лет, а девкам после восемнадцати и вдовам более двух лет после смерти мужей их, то таким крепостным не только предоставлять свободу, но даже который из них и сбежит, унося что с собой, то и тут суда не давать на них господину их[82].

Между тем военные действия продолжались безуспешно для царских войск, несмотря на некоторые частные удачи. Так, например, выступивший из Каширы князь Хилков осадил бунтовщиков, засевших в Серебряных Прудах в остроге[83]. Когда же прибыли также под Серебряные Пруды шедшие из мордовской земли Пушкин и Ададуров и соединились с Хил-

ковым, то царские воеводы сильно подступили под острог. Бой продолжался целый день: бунтовщики, ожидавшие скорой помощи, защищались храбро и только около полуночи, видя свое изнеможение, сдали острог. В следующий день показался отряд, шедший из Украйны на выручку их, под начальством князя Ивана Даниловича Мосальского да литвина Ивана Сторовского, но мятежники, встреченные царским войском в шести верстах от Серебряных Прудов, потерпели сильное поражение и потеряли много убитыми и пленными; в числе сих последних находились и сами начальники князь Мосальский и Сторовский. Несколько времени спустя Хилков, Пушкин и Ададуров учинили несчастный поиск на Дедилово. Засевшие там бунтовщики не только отразили их, но даже совершенно разбили. Ададуров был убит, и множество царских воинов потонуло в реке Шате. Побежденные бежали до самой Каширы.

Болотников продолжал отчаянно оборонять Калугу и беспрестанными вылазками сильно тревожил осаждающих. Царь, видя в нем животворную душу мятежа, покусился на дело гнусное. Московский лекарь Фидлер, уроженец кенигсбергский, предложил свои услуги по отравлению Болотникова[84], но, так как ему не верили, как известному хвастуну и обманщику, то он дал на себя следующую клятву: «Во имя Пресвятой Троицы, во имя Предвечного Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, я, Фридрих Фидлер, даю сию клятву в том, что хочу погубить ядом врага царю Василию Ивановичу и всему царству Русскому, Ивана Болотникова; если же не исполню и обману моего государя, да лишит меня Господь навсегда участия в небесном блаженстве; да отринет меня навеки от Своего милосердия единородный Сын Божий Иисус Христос, кровь Свою за нас пролиявший; да не будет подкреплять душу мою сила Св. Духа; да покинут меня все ангелы, христиан охраняющие. Пусть обратятся во вред мне стихии мира сего, созданные на пользу человека; пусть земля поглотит меня живого; да будут земные произрастания мне отравой, а не пищей; да овладеет телом и душой моей дьявол. Если даже духовный отец разрешит меня от клятвы, которую исполнить я раздумал бы, да будет таковое разрешение недействительно. Но нет! Я сдержу свое слово и сим ядом погублю Ивана Болотникова, уповая на Божью помощь и святое Евангелие». Василий, сей страшно нечестивой присягой убежденный в искренности намерения Фидлера, приказал дать ему коня и сто талеров и обещал ему, если он сдержит слово свое, сто душ крестьян и триста талеров ежегодного оклада. Но Фидлер, по прибытии своем в Калугу, открыл все Болотникову и вручил ему самый яд. Таким образом царь, без всякой пользы, обесславил себя действием постыдным.

Впрочем, Болотников с беспокойством усматривал истощение жизненных припасов в Калуге. Уже осажденные вынуждены были питаться конским мясом[85]. В сих обстоятельствах начальник их писал к князю Шаховскому в Путивль, убедительно прося у него помощи. Шаховской знал, что для успеха общего их дела необходимо идти выручать Болотникова, но он сам находился в затруднительном положении. Даже строптивые северяне начинали охлаждаться в преданности своей к мнимому Димитрию, которого прибытия напрасно ожидали столь долгое время, и от них нельзя было надеяться дальнейших усилий, если самозванец сам не решится присутствием своим воспламенить угасающее их к нему усердие. Но все старания Шаховского, чтобы склонить Молчанова к приезду в Путивль, не могли победить его робости, и он никак не отважился оставить Самбора[86]. Наконец Шаховской, убедившись, что ему нечего ожидать от малодушного злодея, обратился к Лжепетру и послал звать его к себе в Путивль[87].

По открытии весны Лжепетр, оставив берега Дона, направился с терскими сподвижниками своими вверх по Донцу. Посланный от Шаховского нашел его еще на Донце, но уже во ста сорока верстах от устья сей реки. Лжепетр охотно принял сделанное ему предложение идти в Путивль, дабы действовать заодно с приверженцами Лжедимитрия; он продол-

жал путь свой Донцом до Борис-города, а оттуда, проходя через Оскол, прибыл в Путивль с десятью тысячами человек своего собственного войска, оставляя кровавые следы своего шествия[88]. Болотников был жестокосерд не по нраву, а по расчету, и потому сам никого не терзал, а только допускал и поощрял к неистовствам своих товарищей, когда ему казалось полезным вовлекать их в преступления. Напротив того, Лжепетр, по врожденным зверским наклонностям, сам наслаждался истязаниями и убийствами. Из числа чиновных людей приняли от него мучительную смерть воеводы: борисгородские боярин Михайло Богданович Сабуров и князь Юрий Приимков-Ростовский, оскольский Матвей Бутурлин, белогородский князь Петр Иванович Буйносов, путивльский князь Андрей Бахтеяров; плененные Болотниковым и отосланные им в Путивль боярин князь Василий Кандарукович Черкасский и окольничие Алексей Романович Плещеев и Ефим Варфоломеевич Бутурлин[89]. Развратность Лжепетра равнялась его свирепству. Он взял к себе в наложницы дочь казненного им князя Бахтеярова.

Между тем Шаховской прилежно заботился об усилении приведенного Лжепетром войска не только новым набором северян, но еще и внешней помощью. По приглашению его отряд запорожцев прибыл в Путивль в надежде иметь участие в предполагаемых грабительствах. Когда таким образом составилось значительное ополчение, Лжепетр, в сопровождении самого Шаховского, выступил к Туле, выслав перед собой два отряда. Одному, под начальством князя Михайлы Долгорукова, поручено было принудить Измайлова к снятию осады Козельска. Другому же отряду повелено спешить в Тулу на усиление князя Телятевского, коему предписывалось немедленно по прибытии оного следовать к Калуге на выручку Болотникова.

В исполнение сего Телятевский выступил из Тулы первого мая, но, дабы в случае неудачи не быть отрезанным от Северской земли, он не пошел прямо на Калугу, а направился сперва к Белеву, в намерении предварительно всякому наступательному действию обезопасить отступление свое на Путивль[90]. Князь Мстиславский, известясь о его походе, выслал против него боярина князя Бориса Петровича Татева и князя Андрея Черкасского с семнадцатью тысячами человек. Обе рати столкнулись на Пчельне и сразились немедленно. Но успех битвы остался на стороне мятежников. Начальники князья Татев и Черкасский и многие воины были убиты; остальные бежали в стан главного войска под Калугой и распространили в оном смятение и ужас. Пользуясь оными, Болотников на другой день сделал сильную вылазку. Тогда разгром сделался всеобщим. Царские воины в беспамятстве постыдного страха бежали к Боровску, покинув орудия, снаряды и припасы. Другие даже предались неприятелю. Если верить некоторым свидетельствам, таким образом перешло в ряды мятежников до пятнадцати тысяч человек, из коих около ста немцев с начальником своим Гансбергом. К счастью, всегда доблестный князь Шуйский-Скопин и прощенный Истома Пашков, которого царь назначил атаманом казацким, пребыли еще верными долгу и чести. Оба они успели одушевить своим мужеством некоторых воинов и с помощью их удерживали напор Болотникова, дабы обезопасить бегущих; наконец, сами в порядке отошли к Серпухову, куда привезли с собой и несколько спасенных ими пушек.

Под Козельском честь царского оружия была сохранена. Воевода Измайлов с успехом отразил нападение отряда князя Долгорукова и только тогда снял осаду Козельска, когда известился о несчастных событиях под Калугой[91]. Отступая в Мещовск, он забрал с собой весь осадный снаряд, не оставляя ничего в добычу неприятелю, и тем заслужил милость царя, который пожаловал его в окольничьи[92].

Пока князь Мстиславский собирал в Боровске рассеянные полки свои, торжествующий Болотников оставил Калугу и соединился в Туле с Лжепетром в намерении действовать совокупными силами[93].

Москва была в тревоге. Снова гибель висела над столицей и государством. Смущение было всеобщее, но царь ободрил всех своей решимостью. Не скрывая чрезвычайности угрожающей беды, он объявил, что настало время верным победить или умереть, что он первый подаст пример, выступив в поход на злодеев, но что он требует и от всех дружного содействия. Повсюду разослали указы, чтобы под смертной казнью все служивые люди и даточные собирались под царские знамена[94]. Имения духовенства не освобождались от присылки ратников, и даже самим инокам предписывалось быть в готовности приняться за оружие по первому вызову. Кроме того, поставлялось в обязанность монастырям снабжать жизненными припасами столицу и войско. Патриарх и высшее духовенство, в ревности своей к восстановлению государственного устройства, не только соглашались на все пожертвования, но еще старались подкрепить царские усилия духовным оружием. По повелению их во всех храмах провозгласили проклятье над Болотниковым и самозванцами и отлучили от церкви всех их сообщников.

Порыв был всеобщий и внезапный. Можно полагать, что действовало не столько усердие к мало уважаемому царю, сколько убеждение помещиков, что дело шло о собственном их существовании. Ополчение образовалось столь успешно, что уже двадцать первого мая Василий мог выступить в поле[95]. Москву он приказал брату своему князю Димитрию и другим двум боярам: князьям Одоевскому и Трубецкому. Всех прочих бояр, окольничих и дворян царь взял с собой. Из столицы войско направилось двумя путями. Боярин князь Андрей Васильевич Голицын с частью оного следовал к Кашире на соединение к идущему туда же из Рязани боярину князю Львову[96]. Сам царь с главными силами пошел к Серпухову, куда также имел повеление прибыть и князь Мстиславский из Боровска.

Едва царь выехал из Москвы, как получил утешительное донесение, что князь Хворостинин и бунтующие астраханцы, раскаявшись в своих злодеяниях, вошли в сношения с боярином Шереметевым и девятнадцатого мая снова покорились царю[97]. Василий спешил огласить сию радостную весть для ободрения собирающихся на Оке войск своих. Впрочем, покорность астраханцев была ненадежна: они не хотели впустить к себе Шереметева, который по-прежнему оставался на Бальчике. Таким образом, в городе не искоренилось своевольство, печальным следствием коего было скорое возобновление прежних смут.

Лжепетр, Шаховской и Болотников, сосредоточившие войска свои в Туле, выслали с общего совета к Серпухову, вероятно, для удержания переправы на Оке, князя Телятевского с тридцатью тысячами путивлян, ельчан и казаков донских, терских, волжских и яицких. Но Телятевский, известившийся в пути о прибытии царя в Серпухов, обратился на Каширу. Князья Голицын и Львов спешили донести о том царю, который послал к ним на подкрепление несколько сотен и вместе с тем предписал им идти на врагов[98]. Обе стороны сошлись на берегах Восми в семнадцати верстах от Каширы. Упорное сражение началось пятого июня с рассветом и продолжалось четыре часа с переменным счастьем. Сперва бунтовщики стали одолевать, но Голицын и Лыков, одушевляясь великодушным отчаянием, разъезжали по полкам своим и кричали отступающим: «Где суть нам бежати? Лучше нам здеся померети друг за друга единодушно всем!» Воины их устыдились дальнейшего отступления и отвечали: «Подобает вам начинати, а нам помирати!» Тогда бояре, призвав на помощь Бога, бросились в сечу; за ними устремилось все воинство. Мятежники дрогнули в свою очередь. Из них около тысячи семисот удалейших казаков перешли речку и засели в буераках, ограждаясь повозками своими. Прочие, побросав орудия, набаты, знамена и коней, бежали к Туле и были преследуемы на расстоянии сорока верст. Кроме убитых и рассеянных они потеряли пять тысяч пленных, и Телятевский воротился в Тулу с весьма немногими людьми. Оставшиеся в буераках казаки не хотели сдаваться и отстреливались из ружей еще два дня; наконец, когда у них не стало пороху, царские воины, спешившись, пошли на них. Рязанцы первые спу-

стились в буераки под предводительством Федора Булгакова и Прокопа Ляпунова. Сопротивление казаков, лишенных способов к обороне и подавленных многолюдством нападающих, было почти ничтожно. Все они были вырезаны, за исключением семи человек, коим даровали жизнь по просьбе некоторых нижегородских и арзамасских помещиков, ими также спасенных от лютой смерти во время разбойничеств их на Волге с Лжепетром.

Василий, обрадованный столь знатной победой, далее не медлил действовать решительно. Сам оставаясь еще в Серпухове, он выслал за Оку трехполковое войско под главным начальством князя Скопина-Шуйского, который в сорока верстах от Тулы, соединяясь с каширским полком князей Голицына и Лыкова, продолжал следование свое к сему городу[99]. Неприятель, в намерении препятствовать обложению Тулы, расположил сильный отряд в полутора верстах от города на топкой речке Воронее, в крепком месте между болотом и лесом. Но отряд сей не мог остановить воинов Скопина, которые двенадцатого июня, несмотря на сильное сопротивление, переправились за Воронею и втоптали мятежников в Тулу. В запальчивости битвы человек десять из московского войска ворвались даже в самый город и там были убиты.

Царские воеводы остановились под Тулой в ожидании прибытия самого царя, который несколько дней спустя выступил из Серпухова с остальным войском и двадцать восьмого июня прибыл под Алексин. Город сей сдался на другой день, а тридцатого числа царь, прибыв под Тулу, приказал начать осаду[100]. Князь Андрей Голицын с каширским полком стал на Каширской дороге на Черленой горе, примыкая левым крылом своим к отряду князя Петра Арасланович Урусова, расположенному на речке Тулке и состоящему из чуваш, черемис и татар казанских, романовских и арзамасских; на левой стороне Упы находился стан главного войска; позади оного царь приказал разбить свои шатры в двух верстах от города[101]. Большая часть осадных орудий выставлена была за турами на Крапивенской дороге, но некоторые из них помещены были и со стороны Каширской дороги поблизости реки Упы.

Успехи, ознаменовавшие первые действия царских войск, имели влияние и на некоторые окрестные города[102]. Сапожок и Ряжск снова покорились царю. Кроме того, приехали к нему с повинной из Михайлова тамошние Лжепетра воеводы князь Федор Засекин и Лев Фустов с несколькими стрелецкими головами, да из Брянска окольничий князь Григорий Борисович Роща-Долгорукий и Елизарий Безобразов, и с ними многие дворяне и дети боярские Северской земли.

Василий, не находя возможным вместе с осадой Тулы предпринять таковую же и Калуги, упорствующей в мятеже, хотел, по крайней мере, отрезать сообщение калужан с бунтующим краем. В этом намерении он послал на левую сторону Оки два отряда под начальством князя Третьяка Сеитова и князя Василия Мосальского[103]. Сеитов успешно исполнил поручение свое и очистил от неприятеля города Лихвин, Белев и Болхов; Мосальский, со своей стороны, осадил Козельск.

Главное дело, осада Тулы, шло медленно, хотя число осаждающих простиралось до ста тысяч человек[104]. В городе находилось до двадцати тысяч отважных злодеев, коими предводительствовали Лжепетр, князь Шаховской, князь Телятевский, какой-то Кохановский и, что всего важнее, неустрашимый Болотников, готовившийся явить новые опыты уже им в Калуге оказанного удальства[105]. Ободряемые его примером мятежники делали ежедневно по три и по четыре вылазки, дрались отчаянно и всегда отбивали многократные приступы царских войск.

Однако же, несмотря на храбрость осажденных, Шаховской и Болотников предусматривали, что им не удержаться в Туле и что рано или поздно царь возьмет сей город, если не будет им сильной помощи извне. Но откуда можно было им ожидать сей помощи, как не от нового порыва северских людей, возбужденных явлением Димитрия, к коему слепая

их приверженность все еще сохранялась? Самая бодрость защитников Тулы основывалась единственно на уверениях Шаховского о скором прибытии Димитрия. В сих обстоятельствах начальники мятежников поручили бывшему при них запорожскому атаману Ивану Заруцкому ехать в Польшу для точного разведания, будет или нет Молчанов в Россию? Но Заруцкий доехал до Стародуба и не только далее не продолжал своего пути, но даже и не писал в Тулу. Не имея от него никакого известия, Шаховской послал еще в Польшу казака, который, достигнув до своего назначения, уведомил друзей воеводы Сандомирского, что если они не поторопятся выслать в Россию какого-нибудь Димитрия, то Шуйский неминуемо восторжествует, а с тем вместе исчезнет для Марины и ее отца всякая возможность к возвращению утраченного ими величия. Мнишковы приверженцы усердно принялись за дело.

До тех пор поляки оставались в бездействии не потому, чтобы угасло в сердцах их желание мстить России за убиение в Москве соотечественников, но единственно по причине внутренних раздоров, терзавших собственное их отечество. Жебржидовский и Радзивилл снова возбудили против короля рокош сильнее прежнего и даже объявили престол польский праздным. Обе стороны выступили в поле в июне месяце. В решительной битве под Гусовым король остался победителем, и рокошане рассеялись. Хотя Жебржидовский, нашедший убежище в крепости Замостье, еще не покорялся королю, но должно было ожидать, что и он не замедлит прекратить бесполезное сопротивление. С окончанием междоусобия многие из молодежи польской оставались в праздности. Друзья Мнишека рассудили, что нетрудно будет склонить их на помощь всякому, кто согласится принять на себя имя Лжедимитрия. Но не столь легко было вскорости найти человека, способного к роли самозванца. Пример Молчанова в особенности показывает, что отважность должна была составлять первое достоинство избираемого лица. В сем убеждении один из сподвижников Отрепьева, поляк Меховецкий, не гоняясь за вероподобием, решился назвать Димитрием подговоренного им юношу, который хотя чертами лица отнюдь не походил на Отрепьева, но не менее его оказывался дерзновенным и предприимчивым. Сей новый обманщик, по имени Иван, был родом из России, но жительство имел в белорусском городе Соколе и занимал место учителя при детях одного священника[106]. Он знал хорошо по-русски и по-польски, твердо помнил круг церковный и даже разумел по-еврейски. Впрочем, кроме неустрашимости в боях и стойкости в исполнении принятых предначертаний, он отличался только гнуснейшими пороками, был груб в обхождении, свиреп и корыстолюбив и предавался постыднейшему распутству[107]. Меховецкий передал ему все подробности о похождениях Отрепьева и, таким образом настроив его по возможности, отправил в Стародуб, а сам между тем занялся на границе набором войска из вольнонаемной шляхты и разной сволочи[108].

В первых числах сентября явились в Стародуб два незнакомца, из коих один назывался Андреем Андреевичем Нагим, а другой московским подьячим Алешкой Рукиным[109]. Они говорили, что подосланы от царя Димитрия, укрывавшегося от своих изменников, чтобы разведать о расположении к нему стародубцев. Услышав сие, стародубцы единодушно завопили: «Все мы ему рады. Скажите нам, где он ныне, и мы все пойдем к нему головами». Тогда Рукин объявил всенародно, что Димитрий находится в Стародубе, но, несмотря на все убеждения нетерпеливых жителей, отказался указать его. Притворное упорство свое он довел даже до того, что стали его пытать; будто не стерпя мучительства, он, наконец, объявил, что под именем Нагого скрывается сам Димитрий, чудесно спасенный от измены московских жителей, которые будто бы вместо него убили какого-то немца по имени Арцыкарлуса[110]. Стародубцы без дальнейших расспросов, без дальнейшего доказательства поверили голословной басне и, увлеченные примером и советами одного из своих сограждан, Гаврилы Веревкина, поверглись за ним к стопам мнимого Димитрия и клялись жить и умереть за него[111]. Зазвонили во все колокола, и весь город был в радостном волнении. Заруцкий, еще

находившийся в Стародубе, спешил также к самозванцу, и хотя с первого взгляда заметил, что он обманщик, однако не усомнился признать его за царствовавшего в Москве Димитрия, коего, впрочем, сам не видывал. Заруцкий, предобреченный сделаться злодеяниями своими одним из ужаснейших орудий гнева Божия над несчастной Россией, был русским по происхождению, а поляком по подданству[112]. Он родился в Червонной России в городе Тарнополе, но в юности оставил Польшу, разбойничал сперва вместе с крымскими татарами, а потом с донскими казаками, коих успел привязать к себе отважностью, не обузданной никакими нравственными понятиями. Он никогда в Москве не бывал и с Отрепьевым нигде не встречался.

Меховецкий, выжидавший поблизости Стародуба, какой прием сделан там будет им созданному самозванцу, скоро получил известие о восторге, произведенном его появлением, почему он в тот же день вступил в Стародуб с пятью тысячами поляков, из коих, впрочем, только немногие были порядочно вооружены[113].

К сему столь худо снаряженному войску хотя и присоединились в скором времени несколько тысяч северян, но все ополчение не составляло еще чего-нибудь такого, с чем можно бы надеяться одолеть огромные силы, собранные царем Василием под Тулой. Несмотря на то, самозванец решился выступить в поле, чтоб от бездействия не охладилось к нему усердие народное. Он также рассчитывал и на возбуждение измены в царских воинах обворожительным влиянием имени Димитрия[114]. В сем предположении он дерзнул послать Василию с требованием уступить ему престол без дальнейшего кровопролития. Сие нелепое предложение привезено было под Тулу одним сыном боярским, который по слабоумию своему до такой степени вдался в обман, что искал только случая кровью своей запечатлеть верность свою тому, кого почитал законным государем. Безумец упрекал в глаза царя Василия в похищении престола у природного своего государя. Разгневанный царь повелел его пытать огнем, но он посреди мучений говорил те же речи и дал себя жечь до самой смерти, не оказывая ни малейшего сомнения в справедливости защищаемого им дела.

Столь дивное исступление в пользу обманщика, изумляя царя, убеждало его в великости новой беды, угрожающей бурному его царствованию. Получаемые известия из Северской земли ежедневно умножали его беспокойство. Еще самозванец не выступал из Стародуба, как уже города Чернигов, Новгород-Северский и Путивль, увлеченные одними присланными от него грамотами, признали его за своего государя. Брянск готовился также последовать сему примеру. В сих обстоятельствах надлежало бы немедленно выслать против вора достаточное войско для искоренения его, прежде нежели он успел усилиться, но царь не посмел ослабить себя под Тулой, из опасения, чтобы тем не выпустить из рук заключенных там злодеев, коих по известному их исступлению не без основания почитал вреднейшими из своих врагов. Он решился до падения Тулы действовать против лже-Отрепьева только отрядами. Так как вор из Стародуба шел к Брянску, то Василий предписал Мещовскому воеводе Сунбулову послать наскоро расторопных воинов для проведания о неприятельских обращениях и для наказания брянчан за их шаткость. В то же время высланные самим царем из-под Тулы отряды овладели городами Дедиловым, Епифанью, Крапивной и Одоевым и тем заслонили осаждающее войско от стороны Украйны[115].

Сунбулов, для исполнения полученого им повеления, назначил для поиска двести пятьдесят лучших конных воинов и предоставил им самим избрать себе начальника. Выбор их пал на брянского уроженца, голову Елизара Безобразова, который быстро двинулся к Брянску и вступил в сей город беспрепятственно, потому что большая часть жителей, отнюдь не ожидая набега, вышла на сретение вору, уже находящемуся в недальнем расстоянии. Безобразов поспешил сжечь город и возвратился в Мещовск[116]. Самозванец послал за ним погоню,

но не могли догнать его, потому что он имел предосторожность запастись переменными лошадьми.

Лже-Отрепьев, остановясь станом под Свинским монастырем, занялся устройством выжженного Брянска. Наконец, двадцать девятого сентября он отправил пехоту свою с обозом в Карачев, куда и сам прибыл с конницей несколько дней спустя. Но и тут недолго оставался и двинулся на выручку Козельска. Напрасно осаждавший сей город князь Мосальский хотел удержаться под оным с имеющимися при нем восемью тысячами воинов[117]. Разбитый вором, он принужден был с уроном отступить к Мещовску[118]. Можно было опасаться, что злодей скоро найдет средство подать помощь и самой Туле, но, по счастью, участь сего мятежнического гнезда была уже решена.

Долгое время тульская осада продолжалась безуспешно. Царские воины скучали, упадали духом. Открылись важные побеги. Начальник татар, князь Урусов, изменяя данной присяге, отъехал в Крым со многими мурзами[119]. Сам царь недоумевал, к каким средствам прибегнуть для одоления упорства осажденных. Когда таким образом успех предприятия делался уже сомнительным, явился к Василию муромский сын боярский Фома Сумин Кровков и обещался потопить Тулу, если ему дадут нужное число работников. Сначала царь и бояре осмеивали его выдумку, но он объявил, что готов принять казнь, если не исполнит своего обещания. Видя твердую его уверенность в своем хитродельстве, решились допустить его к попытке. По указанию его стали прудить реку Упу в трех верстах ниже города. Плотина, устроенная из деревьев и соломы, постепенно возвышалась земляной насыпью. Всякий воин из царского стана обязан был принести ежедневно по одному кульку с землей. Вода в реке начала значительно прибывать. Тогда, убедившись в возможности успеха, принялись за дело с большим рачением. Царь приказал выслать в помощь Кровкову всех мельников с окольных мест. В непродолжительном времени наводнение сделалось ужасным. Вода не только обступила весь город, но даже проникла в оный, так что по улицам ездили на плотах. Пресеклось всякое сообщение города с окрестными селениями, и вместе с тем сделалось невозможным для осажденных получать подвозы, кои доселе, несмотря на обложение, часто успевали проходить в город иногда тайно, а иногда и открыто, под покровительством удачных вылазок[120]. К довершению их горестного положения, большая часть существующих в городе хлебных и соленых складов были потоплены и размыты[121]. Цена ржаной муки возвысилась непомерно: за бочку платили по двадцать четыре рубля (восемьдесят нынешних серебряных). Жители, доведенные до крайности, ели лошадей, собак, кошек, мышей и даже стерву и воловьи кожи. Но и сии отвратительные способы продовольствия истощались. Бунтовщики, нуждой укрощенные, стали толпами выходить из Тулы в царский стан[122]. Таким образом с повинной являлись ежедневно по сто, по двести и даже по триста человек. Сам отважный Болотников наконец убедился в невозможности дальнейшего сопротивления и решился с общего совета с князьями Телятевским и Шаховским войти в переговоры о сдаче города. Вследствие сего он известил царя, что Тула готова покориться и даже выдать Лжепетра с тем, чтобы прочим осажденным даровано было помилование, но что тульские защитники отнюдь не положат оружия безусловно и скорее съедят друг друга, чем добровольно подвергнутся казни[123]. Василий, встревоженный приближением Лжедимитрия, хорошо знал, что непреклонность была бы неуместна, и потому обещал пощадить покорствующих.

Десятого октября боярин Крюк-Колычев занял Тулу отрядом московских войск. Болотников выехал из города в задние ворота, где наводнение не было так сильно; подъехав к царской ставке, он слез с коня, упал к ногам Василия и, положив обнаженную саблю себе на шею, сказал: «Я исполнил обет свой; служил верно тому, кто называл себя Димитрием в Польше, справедливо или нет, не знаю, ибо сам я царя прежде никогда не видывал. Я не изменял своей клятве, но он выдал меня; теперь я в твоей власти! Если хочешь головы моей, вели

отсечь ее сею саблею. Но если оставишь мне жизнь, послужу тебе столь же верно, как и тому, кто не поддержал меня». Но сомнительно, чтобы было во власти самого царя оставить жизнь Болотникову. Тесные обстоятельства, в коих находился Василий, поставляли его в зависимость от бояр и помещиков, которые не допустили бы его к помилованию опасного их врага, если бы царь действительно и желал не нарушить своего обещания. Болотникова отправили в Москву с прочими главными начальниками мятежников и с пятьюдесятью двумя немцами, взятыми в Туле, в числе коих находился и богохульный Фидлер. По прибытии их в столицу Лжепетра повесили под Даниловым монастырем на Серпуховской дороге[124]. Болотникова же отослали в Каргополь и там утопили[125]. Подобная участь постигла и казацкого атамана Федора Нагибу. Немцев сослали в Сибирь, и там Фидлер угрызениями совести доведен был до того, что самая наружность его сделалась дикообразной. Но чиновные преступники нашли защитников между собратьями своими вельможами и были пощажены. Соблазн безнаказанности для них был доведен до такой степени, что князь Телятевский, посрамивший высокий сан свой принятием начальства над бунтовщиками, не только не лишился свободы, но даже сохранил и боярство[126]. Самого князя Шаховского, которого летописец справедливо именует «всей крови заводчиком», довольствовались сослать в Каменную пустынь на Кубенском озере[127].

Весть о покорении Тулы побудила Лжедимитрия поспешно отступить в Трубчевск. Нет сомнения, что следовало бы царю с имеющимися при нем в сборе значительными силами идти за злодеем, дабы уничтожением его истребить последний плевел мятежа в государстве. Но не должно упускать из виду, что сам Василий, по стечению печальных обстоятельств, сопровождавших его избрание, и последствий оного, пользовался только властью ограниченной и потому часто находился в необходимости воздерживаться от выгоднейших предприятий единственно из угождения к своим приверженцам. Так и в этом случае помещики, утомленные пятнадцатинедельным стоянием под Тулой, желали отдохновения, и царь не почел возможным отказать им. Правда, возвращаясь сам в Москву, он приказал было князю Скопину и Ивану Никитьевичу Романову с главной ратью идти из Тулы на Пчельну, для удержания Лжедимитрия, но когда пришла весть об отступлении самозванца из Козельска, то распустили все войско до первого зимнего пути, оставив только в поле наблюдательный отряд под Калугой[128]; да, кроме того, от царя поручено было Григорию Сунбулову из Мещовска сделать поиск на Брянск[129]. Сунбулов занял Брянск беспрепятственно. Василий, желая удержать за собой сей город, послал туда на воеводство боярина князя Михайла Федоровича Кашина да Андрея Никитьевича Ржевского, которые укрепились, прикрыв вверенное им место валом, обнесенным твердым тыном. Так как для успокоения умов полагали полезным придавать сколь можно более важности покорению Тулы, то царь имел торжественный въезд в столицу тридцать первого октября. Василий сидел один в колеснице, обитой красным сукном и запряженной четырьмя белыми лошадьми. Его сопровождали бояре и другие чиновники, числом до двух тысяч, все верхом. У Кремлевского моста, будучи встречен оставшимися в Москве боярами, он слез с колесницы и с ними пошел пешком в крепость. При всех церквах звонили в колокола.

В столице уже ожидали царя посланники, вновь прибывшие из Польши. Король Сигизмунд среди тревог, рокошанами ему причиняемых, желал до удобнейшего времени усыпить Россию и потому решился, в исполнение данного им обещания князю Волконскому, отправить в Москву для переговоров Станислава Витовского и князя Друцкого-Соколинского со свитой, из пятисот четырнадцати человек состоящей[130]. Посланники прибыли в Смоленск еще в первых числах августа; но, по причине военных обстоятельств, их везли так медленно, что они доехали до Москвы не прежде двенадцатого октября. Допущенные к царю тринадцатого ноября, они поднесли ему подарки, поздравляли его от имени короля с восшествием

на престол и объявили, что имеют приказание войти в сношение с боярами о важных делах и требовать как отпуска в Польшу прежних послов, воеводы Сандомирского, дочери его и всех задержанных поляков, так и вознаграждения за понесенные убытки сими особами и прибывшими под покровительством их иноземными купцами. Царь назначил для переговоров с посланниками бояр князя Ивана Михайловича Воротынского и Ивана Федоровича Колычева, думного дворянина Василия Борисовича Сукина и думных дьяков Василия Телепнева и Андрея Иванова. Но при первом приступе возникло между уполномоченными обеих сторон важное несогласие, препятствующее успешному ходу переговоров. Витовский и Соколинский не иначе соглашались приниматься за дело, как при содействии Олесницкого и Гонсевского. Русские, напротив того, не желали, чтобы новые послы вошли в сношение с прежними, коим слишком известно было печальное положение государства. Упорство было одинаковое с обеих сторон.

Между тем известия в столице, получаемые из-за Оки, были не весьма благоприятными. Бездействие царских войск снова ободряло мятежников, смущенных было падением Тулы. Не только дальние Северские города не покорялись царской власти, но даже и Калуга не сдавалась. Там начальствовал поляк Скотницкий, и обыватели слепо вверились сему иноплеменнику, укреплявшему их в упорстве против царя[131]. Василий предложил казакам Беззубцева, взятым в плен в прошлом году в Заборье после поражения Болотникова под Москвой, идти заслуживать вину свою под Калугой. Казаки поклялись служить верно и в числе четырех тысяч отправились в Калужский стан. Но прибытие их было полезным для одних врагов. Царь, отпуская атамана Беззубцева, дал ему поручение объявить калужским жителям, что они получат прощение, если сдадутся добровольно. Калужане отвечали, что и не помышляют о сдаче, а знают одного царя Димитрия, который не замедлит выручить их. В доказательство своей решимости они сделали сильную вылазку.

Между тем как в городе единодушно готовились к обороне, в стане осаждающих, напротив того, возникали опасные крамолы. Царь поступил неосторожно, поверив раскаянию закоснелых злодеев. Казаки, имея снова оружие в руках, жаждали только случая обратиться к прежнему своему ремеслу и не скрывали более изменнических намерений. Устрашенные их наглостью, царские воеводы обратились поспешно к Москве с прочими войсками, оставив в стане много пороху и съестных припасов. На другой день казаки известили калужан об отступлении воевод и просили, чтобы их приняли в город. Но начальствующий в оном Скотницкий не доверял им и, принимая их предложение за военную хитрость, отказал отворить им ворота крепости. Тогда казаки решились идти к Лжедимитрию и в сем намерении переправились за Оку ниже Калуги. В скором времени калужане убедились, что стан покинут. Они спешили захватить все оставленные там запасы и послали к казакам с просьбой возвратиться в Калугу. Но казаки, обидевшись первым отказом, продолжали путь свой, кроме ста из них, коих калужане успели уговорить.

Сам самозванец недолго оставался в бездействии. Он получил новое подкрепление из Польши, хотя и не многолюдное, ибо оно состояло только из двухсот воинов, но не менее того важное по чрезвычайным способностям вождя их полковника Лисовского[132]. Отчаянный наездник, вынужденный оставить отечество, где по судебному приговору осужден был на смертную казнь, отличался не только отважной предприимчивостью, но и замечательным искусством в ратном деле. По совету его самозванец решился воспользоваться распущением главного царского войска, чтобы снова действовать наступательно[133]. Выступя из Трубчевска, он осадил Брянск, в надежде скоро овладеть сим вновь укрепленным замком, но тамошние воеводы, боярин князь Кашин и Ржевский, изготовились на отчаянную оборону, несмотря на скудость имеющихся при них запасов.

Когда таким образом междоусобие опять сильно разгоралось в Северской области, на другом краю государства, в приволжских степях, возникали новые неустройства. Язва самозванства сделалась столь неимоверно прилипчивой, что отовсюду являлись новые шайки грабителей, прикрывающихся именем какого-нибудь царевича, выдуманного самими ими без малейшего правдоподобия. Так, почти в одно время огласились десять новых самозванцев, из коих два, признанные строптивыми и вероломными астраханцами, назывались: один царевичем Августом, Иваном Ивановичем, сыном царя Ивана Васильевича от четвертой супруги его Анны Алексеевны Колтовской, которая никогда не имела детей и находилась еще в живых в Тихвинском монастыре, где была пострижена повелением супруга своего по кратковременном с ним сожитии; другой царевичем Лаврентием Ивановичем, сыном бездетно умершего царевича Ивана Ивановича, старшего брата царя Федора Ивановича[134]. Прочие восемь оказались в разных юртах казацких, именовались царевичами Федором, Клементьем, Савельем, Семеном, Васильем, Ерофеем, Гаврилом и Мартыном и выдавали себя за сыновей царя Федора Ивановича[135]. Все эти обманщики не имели ни малейшей образованности, ибо принадлежали к низшим сословиям и по большей части выходили из дворовых людей и крестьян.

Несмотря на то, астраханцы до такой степени пристрастились к царевичу Августу-Ивану, что набрали для него рать, с коей он направился вверх по Волге[136]. Хотя боярин Шереметев все еще стоял близ Астрахани на Бальчике однако, он не противился движению мятежников, вероятно, потому, что воины его не переставали еще бороться с удручающей их болезнью. Август-Иван подступил под Саратов и сильно нападал на сей город. Но защищавшие оный воеводы Замятня Иванович Сабуров и Владимир Аничков, с находящимися при них ратными людьми низовых городов, оборонялись так мужественно, что с большим уроном отбили обманщика, который принужден был воротиться в Астрахань.

Объявившиеся между казаков самозванцы не имели даже временного успеха. Они находили последователей только потому, что давали предлог к разбойничествам, прикрытым мнимо политическими видами. Но когда казаки узнали, что новый Лжедимитрий с значительными силами воюет в Северской земле, то они условились действовать под именем уже известным; несколько тысяч из них отправились под Брянск и привезли с собой Лжефедора. Лжедимитрий не пощадил себе подобного: злодей торжествующий предал смерти злодея беззащитного[137]. Остальные семь юртовских самозванцев равномерно скоро исчезли, не оставив в наших летописях ни малейшего следа своего существования.

Между тем царь Василий, получив донесение об утеснении Брянска, поспешил принять меры для подания помощи осажденным. Посланное для сего предмета войско находилось под начальством боярина князя Ивана Семеновича Куракина, и вместе с тем повелено также князю Василию Федоровичу Литвину-Мосальскому двинуться из Мещовска к Брянску и составлять передовую дружину князя Куракина.

Осажденные находились уже в крайности. Доведенные голодом до необходимости питаться лошадиным мясом, они в изнурении своем вынуждены еще были ежедневно с боя добывать себе воду и дрова. Вся надежда их основывалась на внешнюю помощь. В самом деле, пятнадцатого декабря князь Мосальский явился под Брянском, но его еще отделяла от замка река Десна, которая из-за идущего по ней льда казалась непреодолимым препятствием. Осажденные, обманутые в надежде своей на помощь, изъявляли горесть свою жалобными воплями и слезно просили пришедших товарищей не оставлять их на верную погибель. Тронутые их отчаянием, воины Мосальского возопили единогласно, что лучше всем умереть, чем быть свидетелями конечного истребления братий своих. Под влиянием великодушного порыва они решились на подвиг геройский и, бросившись в реку, поплыли к городу, разгребая осиливавший их лед, под выстрелами ожидавших их на противоположном берегу поля-

ков и бунтовщиков. Брянские сидельцы для облегчения своих избавителей сделали вылазку в тыл неприятелю, который, опасаясь быть поставленным между двумя огнями, отступил на малое расстояние и тем дал возможность плывшим выйти безвозбранно на берег. Летописцы с удивлением замечают, что дерзновенное сие предприятие совершилось с такой неожиданной удачей, что при переправе ни один человек и ни одна лошадь не погибли. Мосальский, соединившись с брянчанами, смело ударил на врагов, много превосходящих его числом, вытеснил пехоту из шанцев и решительно отбил самозванца от города. Когда таким образом горсть храбрых воинов славно оканчивала дело, приспел и князь Куракин, который, остановясь на правом берегу Десны, напротив Брянска, укрепил стан свой. В ночи сделался сильный мороз. Река встала, и сообщение между обоими берегами стало свободным. Куракин воспользовался этим обстоятельством, чтобы снабдить Брянск всеми нужными запасами для выдержания продолжительной осады[138].

Самозванец, желая вознаградить свою неудачу, сам перешел Десну и напал на Куракина. Сражение было упорное, но без решительного перевеса ни для той, ни для другой стороны. Однако князь Куракин, принимая в соображение, что бесполезно было бы ему подвергаться новому бою для удержания занимаемого им стана под Брянском, когда сей город достаточно уже был обезопасен изобильным снабжением всеми потребными припасами, отступил вместе с Мосальским в Карачев. Самозванец следовал за ними, но, видя, что они укрепились в Карачеве, он не решился открытой силой вытеснять их оттуда, прошел мимо и расположился в Орле.

Царь, желая остановить его стремление, послал восьмого января 1608 года брата своего, князя Димитрия Шуйского, собрать трехполкное войско в Алексине. В Большом полку при князе Димитрии находились еще боярин князь Борис Михайлович Лыков и князь Григорий Константинович Волконский; начальниками Передового полка были бояре князь Василий Васильевич Голицын и Михайло Александрович Нагой; наконец, Сторожевой полк составляли воины, бывшие под Брянском и приведенные из Карачева князьями Куракиным и Мосальским[139]. По последнему пути князь Дмитрий из Алексина перешел в Болхов.

Обе стороны довольно спокойно зимовали, самозванец в Орле, а царские воеводы в Болхове. Выпавшие глубокие снега, сопровождаемые жестоким морозом, препятствовали важным военным действиям[140]. Происходили только мелочные дела между кормовщиками.

Царь Василий, среди тяжких и печальных забот, обременявших его, не оставлял намерения вступить в супружество с помолвленной им еще при Лжедимитрии княжной Марией Буйносовой, но до тех пор не имел ни малейшего свободного времени, чтобы заняться свадьбой. Наконец, пользуясь временным отдохновением и прекращением зимой военных действий, он венчался с княжной Марией семнадцатого января[141]. При этом случае не было особенных пиршеств, которые, в самом деле, не согласовались бы с трудными обстоятельствами тогдашнего времени.

Между тем самозванец все более и более усиливался. К нему из Польши стекались не одни бездомовные витязи, но даже знатнейшие паны не гнушались принимать участие в предприятии, представляющем лестную приманку для их тщеславия и корыстолюбия. Таким образом прибыли в Орел, один за другим, Самуил Тишкевич с семьюстами человек конницы и двумя сотнями пехоты, Витовский с восемьюстами конницы, Велегловский с двенадцатью хоругвями, четырьмя ротами Рудницкого, Хрущинского, Казимирского и Михалинского, старый Тишкевич и Тупальский с четырьмя сотнями коней, князь Роман Наримунтович Рожинский с тысячей коней, Зборовский и Стадницкий с тысячью шестьюстами коней, Млоцкий, Виламовский, Рудский, Орликовский, Копчинский, Мадалинский, Гайовский и многие другие[142]. Всего собралось под знаменами вора семь тысяч поляков отборного

войска. Кроме того, при нем также находилось восемь тысяч казаков донских и запорожских под начальством Заруцкого и довольное количество русских злодеев.

Из всех панов, окружавших самозванца, никого знатнее не было князя Рожинского, который потом почитал себя вправе домогаться главного начальства[143]. Меховецкий, уже признанный гетманом войска, принужден был уступить ему сие звание. Но он решился на сие не без внутренней досады, которая часто выражалась нескромным противоречием Рожинскому. Однако же вражда его против гетмана имела для него пагубные последствия. Несколько месяцев спустя гордый князь в порыве гнева, возбужденного новыми противоречиями Меховецкого, убил его в самой ставке самозванца.

По открытии весны с обеих сторон стали готовиться к походу. Самозванец, уповая столько же на измену, сколько и на открытую силу, рассылал повсюду грамоты, в коих он против всякого вероятия старался убеждать, что он тот же самый Димитрий, которого полагали убитым на Москве и которому все повинны покориться, как истинному сыну царя Иоанна Васильевича[144]. Воззвание, писанное с некоторым жаром и обещающее всем милостивое прощение, могло только, впрочем, иметь вредное действие при успехе оружия мятежников. Итак, все зависело от того, какой оборот примут ратные дела. Первый поиск учинен был царскими воеводами, начальствовавшими в Переславле-Ря-занском, князем Иваном Андреевичем Хованским и Прокопием Петровичем Ляпуновым, которые подступили под Пронск в намерении овладеть сим городом, изменившим царю[145]. Пронские жители защищались храбро, но не могли отстоять острога, в коем все дома были выжжены. Самый город уже едва держался; но, по несчастью, Ляпунов был ранен в ногу. Рязанцы, доверявшие только ему одному, потеряли дух и, покинув почти доконченное предприятие, вернулись в Переславль.

Между тем и князь Димитрий Шуйский выступил из Болхова в намерении выгнать самозванца из Орла. Но в царском войске уже замышлялась измена. При оном находилась довольно значительная немецкая дружина, коей начальники ротмистр Бартольд Ламсдорф, поручик Иохим Берх и прапорщик Георг фон Аален семнадцатого апреля послали сказать самозванцу, чтобы он смело шел на Шуйского и что они при первом сражении перейдут к нему со всеми немцами[146]. Самозванец и Рожинский, полагаясь на их обещание, немедленно собрались в поход и пошли на князя Димитрия, коего встретили двадцать третьего апреля на половине дороги от Орла к Болхову, близ селения Каменки. Завязалось жаркое дело. Князь Василий Васильевич Голицын, робкий не только при исполнении преступных замыслов, но и на ратном поле*, ужасеся вельми,* по словам летописца, и обратил тыл со вверенным ему Передовым полком, который, опрокинувшись на Большой полк, смял его[147]. Поляки, сильно напирая, жестоко секли бегущих, и гибель целого войска была бы неизбежна, если бы князь Куракин со Сторожевым полком не поспешил на помощь малодушным товарищам своим. Решительно ударив на поляков, он остановил стремление их и прикрыл общее отступление, при верном содействии самых тех немцев, на предательство коих полагался неприятель. По счастью, изменившие начальники были так пьяны, что забыли позаботиться об исполнении злодейского умысла своего, и подчиненные их, не подозревая ничего и не получая никакого приказания, по собственному побуждению вошли в бой, дрались честно и храбро и побили много поляков[148]. Оправившееся царское войско остановилось в нескольких верстах от места сражения.

На другой день поляки и мятежники продолжали наступать. Битва возобновилась, но без значительных усилий с той и с другой стороны[149]. Рожинский, несколько смущенный накануне претерпенным поляками уроном, не отваживался на решительное нападение, и, вероятно, царское войско удержалось бы в занимаемом им месте, ежели бы князь Шуйский и товарищи его, не доверяя собственным силам своим, не стали преждевременно готовиться к отступлению и не отпустили назад к Болхову пушечный свой снаряд. Гетман, известив-

шийся о сем обстоятельстве через перебежавшего к самозванцу каширского боярского сына Никиту Лихарева, не усомнился более дружно ударить на царские полки, которые, встревоженные робкими распоряжениями своих начальников, не выдержали натиска и побежали врассыпную. Тогда отрезвившийся уже Ламсдорф почел удобным привести в действие свою измену[150]. Отведя в сторону своих всадников, он хотел вести их к самозванцу с распущенными знаменами. Но немцы имели жен и детей своих в Москве: страшась за них, они по большей части отказались участвовать в предательстве и поскакали вслед за отступающими царскими воинами. При Ламсдорфе осталось не более двухсот человек, которые все вместо ожидаемого ими награждения были изрублены с гнусным начальником своим запорожскими казаками, исполнявшими в точности приказание, данное Рожинским при вступлении в сражение, отнюдь не щадить немцев, коими он полагал себя обманутым.

Живо преследуя разбитых, неприятель настиг и отбил тянувшиеся к Болхову пушки[151]. Царские воеводы, оставив в Болхове пять тысяч человек, сами с прочим войском спешили безоглядно к столице[152].

Самозванец немедленно подступил к Болхову, где и не помышляли обороняться. Часть засевших в сем городе воинов разбежалась; затем оставшиеся, не полагая уже себя в состоянии противиться, отворили ворота вору, которому и присягнули по примеру начальника своего князя Третьяка Федоровича Сеитова[153].

Выйдя из Болхова, неприятель разделился надвое: Лисовский с отрядом, состоявшим из запорожских казаков, бунтующих поселян и малого числа поляков, направился к Коломне, а самозванец и Рожинский с главными силами пошли к Калуге и расположились лагерем в устье Угры. Ослепленные неосторожной доверчивостью, они дозволили князю Сеитову составлять их передовую дружину с одними воинами, вместе с ним сидевшими в Болхове. Все они хотя и и передались самозванцу, но только по необходимости, а в сердце своем сохраняли верность царю. Лишь только переправились за Угру, то князь Сеитов со всеми людьми своими отделился от самозванца и поспешил привести их к царю[154].

Столица уже находилась в сильной тревоге. Князь Димитрий Шуйский, возвратившийся в оную пятого мая, привел с собой весьма немного войска, ибо, кроме понесенного в сражении урона, многие ратные люди во время отступления покинули его и разошлись по своим городам. Царь для заслонения Москвы вынужден был собрать новую рать, которая под начальством бояр князя Скопина-Шуйского и Ивана Никитича Романова расположилась двадцать девятого мая на берегах речки Незнани[155].

Действия самозванца становились опасными в особенности потому, что он распоряжался совершенно в духе разрушительных предначертаний Болотникова. По повелению его объявили повсюду, что крестьянам, присягнувшим ему, отдавались земли господ их, служивших Василию, и что даже дозволялось им жениться на барских дочерях, коих успеют захватить в поместьях[156]. Столь лестной приманкой увлеченная чернь везде восставала в пользу злодея. Устрашенные дворяне и дети боярские покидали дома свои и уходили в Москву с женами и детьми. Таким образом все украинские города, за Окой лежащие, оставшись без защитников, принуждены были покориться самозванцу.

Хотя междоусобие более чем когда-либо принимало вид решительной борьбы между помещиками и их рабами и хотя в сих обстоятельствах утверждение власти царя Василия казалось необходимым для сохранения прав высших сословий, но среди самых сословий сих явились предатели, которые по честолюбивым или малодушным расчетам готовились перейти к самозванцу, столь удачно открывшему поход свой. Воспользовавшись тревогой, произведенной в стане на Незнани полученным известием, что неприятель обходит оный и другой дорогой устремляется к Москве, князь Иван Катырев, князь Иван Троекуров и кром-

ский беглец князь Юрий Трубецкой стали подговаривать воинов к измене[157]. Но злоумышление было вовремя открыто. Заговорщиков схватили и отправили в Москву, куда царь приказал также идти и князю Скопину с войском. По надлежащем исследовании виновные были уличены. Но царь, не переставая действовать под влиянием бояр, не решился строго наказать князей родовитых. Они были разосланы по темницам: Катырев в Сибирь, Трубецкой в Тотьму, а Троекуров в Нижний Новгород. Сообщники их не столь знатные, Яков Желябовский, Юрий Невтев и Григорий Толстой, поплатились за них и были казнены.

Первого июня самозванец переправился через реку Москву и расположился в селе Тушине, в пятнадцати верстах от Москвы, на Волоколамской дороге[158]. В следующие дни происходили под столицей частые сшибки между его войсками и царскими. Но злодей не отважился на приступ первопрестольного города и перешел в село Тайнинское, в семнадцати верстах от Москвы, близ Ярославской дороги[159]. Сим движением Рожинский надеялся отрезать сообщение столицы с заволжскими областями, откуда ожидала она главнейших подкреплений и подвозов, но вместо того неприятель сам оказался в трудном положении: собственные его подвозы, получаемые им из-за Москвы-реки, были перехватываемы царскими войсками, коим, выходя из столицы, удобно было нападать на обозы сии во время следования их, и в особенности при переправе через реку. Рожинский, видя невозможность держаться в Тайнинском, девятого числа потянулся обратно к Тушину[160]. Царь, желая не допустить его до Москвы-реки, послал наперерез ему трехполкное войско под начальством князя Скопина, который имел при себе в Большом полку Ивана Никитича Романова и князя Василия Федоровича Литвина-Мосальского[161]. Начальниками Передового полка были боярин князь Иван Михайлович Воротынский и окольничий князь Григорий Петрович Ромодановский, а Сторожевого стольник князь Иван Борисович Черкасский и окольничий Федор Васильевич Головин[162]. Неприятель был встречен уже поблизости Тушина, и завязалось жаркое дело. Царские воеводы сражались храбро, но не могли помешать врагам пробиться до Тушина и сами отступили на Ходынку[163].

На другой день Рожинский, после тщательного обозрения, расположился между реками Москвой и Всходней, на высотах позади селения Тушина; эта местность, сама по себе выгодная, была еще искусственно укреплена твердыми окопами[164]. Укрепленный Тушинский стан представлял столь верное убежище самозванцу, что он основал в нем постоянное свое местопребывание, отчего и получил от летописцев название *Тушинского вора.*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.